НА КУШЕТКЕ
У ПСИХОТЕРАПЕВТА

Психоанализ
монахини
и блудницы

Имя:
Анна Андреевна Ахматова
Профессия: Поэт
Дата рождения:
II июня 1889
Причина направления
на обследование:
Эмоциональные нарушения
и подозрение на склонность
к суицидальному поведению.
Диагноз: Мегаломания?

АННА АХМАТОВА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Звонок в четыре утра не предвещает ничего хорошего. Особенно если на дворе 1946 год, вы психиатр, а голос в трубке поручает определить, склонна ли к самоубийству опальная поэтесса Анна Ахматова…

Теперь у Татьяны Никитиной есть всего несколько дней, чтобы вынести вердикт, а заодно и понять, что будет, если ее диагноз окажется не таким, какого от нее ждут.

- Екатерина Мишаненкова
  -
  - Пролог
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Эпилог

Екатерина Мишаненкова
Анна Ахматова. Психоанализ монахини и блудницы

© ООО «Издательство АСТ», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Пролог

Телефон зазвонил в четыре утра.

– Никитина.

– Татьяна Яковлевна, вас…

Кому именно я понадобилась в такой час, дежурившая на больничном коммутаторе медсестра Леночка не сказала. Но все и так было ясно по ее дрожащему голоску и по тому, как быстро она переключила меня на звонившего.

– Товарищ Никитина?

– Да, слушаю вас.

– Завтра к вам придет пациентка. Мы подозреваем у нее намерение покончить жизнь самоубийством. Обратите на нее, пожалуйста, особое внимание.

И дальше молчание. Ни дополнительных инструкций, ни хотя бы намека, чего от меня ждут. Я сглотнула, стараясь взять себя в руки, и спокойным голосом уточнила:

– А если у нее есть склонность к суициду?

– Вы сообщите нам об этом.

– А если нет такой склонности?

– Тоже сообщите. – И не допускающим возражения тоном: – До свидания, товарищ Никитина. Мы очень рассчитываем на ваш профессионализм.

Телефонная трубка уже давно лежала на месте, а руки у меня все еще дрожали. Да уж, веселенькое получилось ночное дежурство.

Я отложила личные дела пациентов, которые просматривала до звонка, распахнула окно и закурила, пытаясь успокоиться и привести мысли в порядок.

Обратить особое внимание…

Конечно, это была не просьба, а приказ. Но меня смущало совсем другое: почему мне не сказали, чего именно от меня хотят?

На моей работе такие звонки случаются периодически – что поделать, пусть страдать депрессиями советскому человеку и не положено, но должен же кто-то помогать справляться с этой буржуазной болезнью… скажем так, избранным, особо тонко чувствующим натурам. Через кабинеты нашего психиатрического отделения проходили многие деятели культуры, не говоря уж о женах и детях некоторых членов Политбюро. Иногда даже под вымышленными фамилиями, хотя все, от главврача до санитарок, и так прекрасно знали, кого и как зовут на самом деле.

Но одно неизменно – первому визиту подобных пациентов

всегда предшествует звонок с «просьбой» или как можно быстрее «помочь пациенту избавиться от мыслей об уходе из жизни», или госпитализировать его и «провести полное и тщательное лечение». А чего же от меня хотят сейчас?

– Татьяна Яковлевна! – Через два часа уже закончившая дежурство Леночка заглянула в кабинет и сообщила: – Приехал ваш муж, спрашивает, подвезти вас или вы опять задержитесь?

– Да-да, – очнулась я и торопливо убрала в сейф личные дела, в которых за это время не прочитала ни строчки, – передай ему, что я сейчас выйду.

– Хорошо. До свидания, Татьяна Яковлевна.

В выразительном голосе Леночки звучала заметная зависть – ей-то придется добираться до дома на трамвае, а меня ждет автомобиль, как будто я не простой врач, а киноактриса или жена председателя обкома. Но что поделать, я даже подвезти ее не могу – нам совсем в разные стороны.

Я взяла портфель, заперла кабинет и вышла на улицу, где Андрей гордо восседал за рулем трофейного «Опеля», а со всех сторон его окружали мальчишки, которые теперь обязательно опоздают в школу. Да, журналист, тем более военный корреспондент, иногда очень опасная профессия, но зато сколько возможностей она дает. Я уже привыкла к тому, что Андрей через свои связи мог достать многие дефицитные товары, но покупка частного автомобиля была, конечно, его гордостью. А все благодаря фронтовым знакомствам.

– Что-то ты бледненькая, – заметил муж, заводя мотор. – Я тебе давно говорю, две ночные смены подряд – это не дело. Хватит работать на износ, война уже полтора года как закончилась.

– Дело не в усталости. – Я вздохнула, размышляя, стоит ли взваливать на него свои заботы и беспокойства. С другой стороны, почему бы и нет, все равно он к любым проблемам кроме своих относится достаточно легкомысленно, зато может посоветовать что-нибудь неожиданное. – Мне сегодня позвонили в четыре утра.

Андрей присвистнул и с интересом взглянул на меня.

– Новый «особый» пациент? Кто?

– Пока не знаю.

– И чего от тебя хотят?

– В том-то и дело, что не сказали. – Я беспомощно пожала плечами. – Просто велели обратить особое внимание и сообщить, есть ли у него склонность к суициду или нет.

– И что тебя беспокоит?

– Ну как ты не понимаешь?! – Усталость после двух ночных

смен, видимо, все-таки сказывалась, потому что я почувствовала, что его вопросы меня раздражают.

Как будто он не знает, что подобные поручения меня всегда беспокоят, а когда в них нет конкретики – тем более. Он ведь не раз слышал мои вздохи по поводу медицинской этики. Несмотря на расплывчатость формулировок, оба указания, которые мне обычно давались, были предельно ясными. «Помочь избавиться от мыслей об уходе из жизни» – значит, требуется срочно вывести человека из депрессии, чтобы он как можно быстрее смог показываться на публике. «Провести полное и тщательное лечение» – наоборот, изолировать его до тех пор, пока он полностью не вылечится.

Лично я всегда предпочитала второй вариант, потому что он предполагал серьезное лечение и борьбу с причинами расстройства, а не только снятие симптомов. Но подобные «просьбы» не обсуждаются, и оставалось утешать себя тем, что для ученой работы полезны исследования в обоих направлениях.

Возможно, бывали и другие пожелания, но я об этом слышала только сплетни и предпочитала не верить, что кто-нибудь из наших советских психиатров способен на подобное нарушение врачебной этики.

И вот теперь такой звонок и такое неопределенное поручение.

– Посмотри на это с другой стороны, – предложил Андрей. – Ты ведь сама жаловалась, что многих пациентов приходится не лечить, а только снимать симптомы. И что ты все время рискуешь, поскольку любой твой недавний пациент может через полгода сигануть в окно, и ты окажешься виноватой, хотя только выполняла указания. Ну так радуйся – ты можешь найти у нового пациента что вздумается и лечить его сколько захочешь.

Иногда радужный оптимизм Андрея выводит меня из себя. Он действительно не понимает или притворяется?

– А если я найду у него склонность к суициду, сообщу об этом, а завтра его найдут в петле или с дыркой в голове? Ты об этом не думал? И получится все шито-крыто, врач же поставил диагноз, значит, это точно самоубийство.

Андрей молчал, молчала и я, глядя на дорогу. Некстати всплыла в памяти сплетня, которую в больнице пересказывали шепотом и наедине. О том, что последней пациенткой покойного профессора Льва Васильевича Вишневского, у которого я стажировалась, была Надежда Аллилуева и что он не случайно умер через несколько дней после нее.

Я попыталась отогнать эти мысли. Сплетня есть сплетня, я ее и слушать не должна была. Да и глупости это – ну кто я и кто был

профессор Вишневский. Я, к счастью, не вышла статусом, чтобы ко мне направляли жен членов Политбюро, для этого есть врачи позначительнее, со званиями и регалиями.

Самоубеждение, как обычно, помогло, поэтому, когда машина остановилась около дома, я уже почти успокоилась. Но Андрей умудрился все испортить.

– Знаешь, – задумчиво сказал он, открывая мне дверцу, – у нас в редакции больше всего боятся звонков именно в четыре утра.

– Почему? – удивилась я. – Чем четыре утра хуже трех или пяти?

– Говорят, что *сам*, ну ты понимаешь… – он бросил взгляд направо, где вдалеке виднелись кремлевские звезды, – отдает приказы перед тем, как заканчивать работу. Как раз около четырех утра. Поэтому, когда звонят в это время…

Уточнять не было необходимости. Я, как и все советские люди, хорошо знала, *кто* работает в Кремле по ночам. И это слишком близко перекликалось с тем, о чем я только что думала.

Не буду говорить, что мне снилось после такого разговора, хотя вечером мы с Андреем к этому больше и не возвращались. Но признаюсь честно – я, конечно, атеистка, однако следующим утром шла на работу с мыслью: «Господи, помилуй».

Глава 1

– Товарищ Никитина, к вам пациентка по спецнаправлению. – Старшая медсестра, как обычно, собственноручно положила мне на стол тоненькую папку, в которую мне предстояло подшивать записи бесед и результаты наблюдений. Вообще-то это не было ее обязанностью, но она считала своим долгом передавать личные дела таких пациентов из рук в руки, чтобы быть уверенной, что никто, кроме нее и врача, их не видел.

– Спасибо, – ответила я и слегка рассердилась на себя, заметив, что голос дрогнул. Причем дело было не только в том, что мне было страшно открыть личное дело, но еще и в старшей медсестре, от робости перед которой я никак не могла избавиться.

Впрочем, я такая была не одна – Варвару Ивановну в нашей больнице боялись все, включая главврача. Не по каким-то конкретным причинам, а просто так, из-за нее самой. Она вызывала некий иррациональный трепет своей монументальностью и фанатичной преданностью работе. Она даже обращалась ко всем не по имени и отчеству, а «товарищ Никитина», «товарищ Ермолов» и так далее. Прежде я таких суровых, словно высеченных из гранита женщин видела только в кино, где они обычно были старыми коммунистками, стоявшими у истоков партии.

Варвара Ивановна тоже была старой коммунисткой, но в отличие от киногероинь она нагоняла трепет не на белогвардейцев или фашистов, а на персонал больницы. Женщина, которую боятся врачи-психиатры, – это же просто анекдот какой-то.

Эта мысль наконец-то вызвала у меня улыбку, и мне удалось уже спокойным вежливым тоном сказать, что можно приглашать пациентку. Но я все-таки подождала, пока за Варварой Ивановной закроется дверь, и только тогда открыла папку – не хотелось пугаться или радоваться при ней.

Имя пациентки заставило меня глубоко вдохнуть и не сразу выдохнуть. Я даже не знала, чего в моих ощущениях больше – облегчения, страха или любопытства. Имя, которое было сейчас у всех на слуху, звучало из каждого угла, но при этом произносилось шепотом и вызывало у разных людей бурю эмоций – от негодования до преклонения.

Анна Ахматова.

Ленинградская поэтесса, давно уже знаменитая, но недавно и вовсе ставшая живой легендой после того, как ее в своей

открытой речи «раздавил» лично член Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б), председатель Верховного Совета РСФСР и председатель Совета Союза Верховного Совета СССР товарищ Жданов. После этого о ней узнали даже те, кто в жизни не прочитал ни одного стихотворения.

Да, я хотела с ней познакомиться. А кто бы не хотел? Это не жена кого-нибудь из членов Политбюро с ее скучными семейными тайнами. Мне дают уникальную возможность изучить, что же творится в голове у знаменитой поэтессы, которая так прогневала самых могущественных людей Советского Союза.

С другой стороны, мне тут же снова стало страшно. Вчерашнее предположение, что меня хотят заставать признать пациента суицидником, чтобы потом без помех с ним расправиться, перестало казаться таким уж абсурдным. Некстати вспомнилось, что Цветаева незадолго до смерти тоже бывала у психиатра…

Дверь вновь распахнулась, и медсестра впустила пациентку. У меня едва хватило времени, чтобы усилием воли подавить страхи и сосредоточиться. Сейчас мне как никогда была нужна холодная ясность рассудка.

– Добрый день, Анна Андреевна. – Я встала и протянула ей руку. – Очень рада с вами познакомиться.

Она совершенно спокойно, словно и не к психиатру пришла, протянула свою руку – небольшую, изящную, с длинными стройными пальцами, как у настоящей аристократки, и ответила на рукопожатие.

– Я тоже рада.

Голос ровный, глубокий, без малейшего волнения. И вполне соответствует внешности. Я привыкла к нервной суетливости, барской развязности, хулиганским замашкам, настороженности, но в ее облике ничего этого не было. Статная, с великолепной царственной осанкой и гордой посадкой головы, она нисколько не походила на несчастную жертву, гонимую властями. Скорее она выглядела как светская дама, наносящая не слишком интересный, но обязательный визит.

– Садитесь, пожалуйста, – я указала на кресло, раздумывая, в каком же тоне начинать разговор. И с чего его начинать. Такую женщину не спросишь в лоб, хочет ли она покончить с собой. Не спросишь, и что ее беспокоит – она ведь не сама пришла, а конечно же по приказу.

Я подняла глаза и встретилась с ней взглядом. Она смотрела на меня, а на губах ее играла презрительно-загадочная улыбка сфинкса. Словно она меня насквозь видит. Что ж, значит не стоит ничего придумывать. Лучше всего начать с абсолютно делового

тона и прощупывать ее постепенно.

– Анна Андреевна, начнем с обязательной части, – я вновь открыла папку и взяла перо. – Расскажите о себе. Просто свою биографию, как помните.

Она все так же царственно наклонила голову в знак согласия и после короткой паузы начала:

– Я родилась 11 июня 1889 года под Одессой. В один год с Чарли Чаплиным, «Крейцеровой сонатой» Толстого, Эйфелевой башней и, кажется, Элиотом. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии.

– 11 июня по старому стилю или по новому? – прервала ее я.

Не то чтобы это было действительно важно, я могла посмотреть дату рождения в карточке. Просто уж очень плавно лилась ее речь, словно она рассказывала заученный текст. Надо было как-то сбить ее с этой заученности, заставить говорить искренне.

– По старому, – спокойно ответила она. Ясно, чтобы сбить ее с толку, требуется что-то посерьезнее. – По новому – 23 июня. В ночь моего рождения справлялась и справляется древняя Иванова ночь.

– Это имеет для вас значение?

– Для поэта все имеет значение.

– А где именно под Одессой вы родились?

– На даче Саракини, в районе Большой Фонтан, это одиннадцатая станция паровичка.

– Это там снимали «Петра Первого»?

Она лишь кивнула и все так же спокойно продолжила:

– Дачка эта (вернее, избушка) стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли – рядом с почтой. Морской берег там крутой, и рельсы паровичка шли по самому краю… Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингисидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем.

– Теперь вы об этом сожалеете?

Вопрос был, конечно, глупый, но зато он немного сбил ее с толку. Она посмотрела на меня так, словно это она здесь была врачом, а я – пациенткой с подозрением на психическое расстройство.

– Конечно нет.

– А когда-нибудь сожалели?

Она чуть помедлила, видимо пытаясь понять, почему меня это интересует.

– Нет. И даже если бы сожалела, вряд ли это стало бы

поводом для сведения счетов с жизнью.

Я кивнула:

– Хорошо. Продолжайте, пожалуйста.

– Мой отец был в то время отставной инженер-механик флота, – уже менее ровным тоном продолжила она. Чувствовалось, что мои вопросы слегка вывели ее из равновесия. – Годовалым ребенком я была перевезена на север – в Царское Село. Там я прожила до шестнадцати лет. Мои первые воспоминания – царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в «Царскосельскую оду». Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет – древний Херсонес, около которого мы жили. Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже начала говорить по-французски.

– А когда вы начали писать стихи?

Кажется, я попала впросак – она и глазом не моргнула, но я почувствовала, что она ждала этого вопроса. Похоже, его задавали все, кто слушал ее рассказ прежде.

– Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет. Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина и Некрасова.

– И вы помните, с каких именно стихотворений?

– Конечно. У Державина «На рождение порфирородного отрока», а у Некрасова «Мороз, Красный нос». Эти вещи знала наизусть моя мама.

– Она оказала на вас большое влияние?

– Как любая мать на своего ребенка.

Я позволила себе снисходительно усмехнуться.

– Вы же сами знаете, что не любая. Она понимала вас?

Кажется, то ли вопрос, то ли мой тон задел какие-то нужные струнки, потому что в ее ответе мелькнула заметная нотка гордыни:

– Меня почти никто не понимал по-настоящему.

Я поспешила уцепиться за эту нотку.

– Значит, мать не видела, что вы… особенная? Не такая, как другие дети.

На этот вопрос покупаются практически все творческие личности, главное – вовремя его задать, чтобы не выглядело фальшиво. Каждый из них всегда уверен в своей гениальности. Ахматова не была исключением.

– Когда мне было пятнадцать лет и мы жили на даче в Люстдорфе, недалеко от места моего рождения, – с явным удовольствием вспомнила она, – проезжая как-то мимо этого места, мама предложила мне сойти и посмотреть на дачу Саракини, которую я прежде не видела. У входа в избушку я сказала: «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска». Я не была тщеславна. Это была просто глупая шутка. А мама огорчилась. «Боже, как я плохо тебя воспитала», – сказала она.

Что ж, я услышала даже больше, чем ожидала.

* * *

– Ну что, как твоя пациентка? – спросил меня муж прямо на пороге. Глаза его блестели, и я поняла, что он уже знает, кого именно ко мне направили.

– Откуда узнал? – вместо ответа спросила я его.

– Это мой большой секрет, – довольно пропел он строчку из своей любимой «Свадьбы в Малиновке», на которую водил меня в оперетту не меньше десяти раз. – Ты же не расскажешь, о чем вы разговаривали.

– Конечно, не расскажу, – согласилась я. – Это врачебная тайна. И уж тем более я не доверю ее болтливому журналисту вроде тебя.

Андрей не обиделся – «болтливым журналистом» он прозвал себя сам и всегда охотно соглашался, что прозвище соответствует действительности.

– Ну скажи хоть, похожа она на суицидницу или нет? – Он снял с меня легкое пальто, предмет зависти всех соседок, привезенное им из заграничной командировки, и с большим интересом посмотрел на мой портфель. Кажется, за записями будет нужен глаз да глаз. Андрей никогда бы не стал читать мою личную переписку или дневник, но вот что касается рабочих материалов… тут, боюсь, он всегда сначала журналист, а только потом уже человек, муж и коммунист.

– Не похожа. – Я отнесла портфель в кабинет, помыла руки и пошла переодеваться в домашнее. – Она не в депрессии и не в отчаянии. Я бы сказала даже, что она в некоторой степени упивается своим статусом гонимого и преследуемого поэта. Это приравнивает ее к великим, возможно даже к самому Пушкину.

– Значит, ты уже вынесла вердикт? – На кухне Андрей повязал мне фартук и устроился на табуретке. Его роль в приготовлении ужина на этом заканчивалась. Впрочем, поскольку готовила я в основном из того, что он получал в качестве пайка и

доставал через своих знакомых, придираться было не к чему. Мне хоть и сильно подняли оклад в марте, но цены росли как на дрожжах. За килограмм ржаного хлеба, который летом стоил рубль десять копеек, теперь нужно было платить уже три сорок. А Андрей еще по секрету рассказывал, что скоро выйдет постановление об экономии в расходовании хлеба. И хотя я была уверена, что работников науки это не коснется, все равно было страшно.

– Таня, ты не уснула?

Я вздрогнула и едва не рассыпала макароны.

– Извини, задумалась об ужине. О чем ты спрашивал?

– Я говорю: значит, ты уже вынесла вердикт? Она не собирается кончать с собой?

– Нет, не вынесла. – Я покачала головой. – Я говорю только, что она не в депрессии. Но это еще ничего не значит.

– Разве здоровый нормальный человек станет убивать себя?

Если бы это был не Андрей, я бы заподозрила, что меня проверяют. Конечно, суицидальная психология не была официально объявлена лженаукой, но все прекрасно знали, что она крайне не одобряется. Самоубийцами могли быть лишь психически больные люди, и точка.

– Не станет, – согласилась я, предпочитая быть осторожной даже в личном разговоре. – Но психическое здоровье – очень тонкая материя. И отклонения от него бывают разные. Если бы все было так просто, в моей работе не было бы необходимости, любой мог бы на глаз определить, склонен ли тот или иной человек к суициду.

– Но если она не в отчаянии, – не отступал Андрей, – зачем она будет кончать с собой?

– А почему она тебя так интересует? – решила я перевести разговор на другое, тем более что и сама пока не могла облечь свои сомнения в какую-либо словесную форму. Я просто доверяла интуиции. – Ведь ты все равно не сможешь ничего написать, кроме разгромной статьи. А для этого знать о моей работе не нужно.

Но Андрей неожиданно оказался более искренним, чем я.

– Это сейчас не смогу, – довольно пояснил он. – Но хороший журналист должен смотреть в будущее. Вот умрет она и, увидишь, очень быстро станет не «представительницей буржуазно-дворянской поэзии» и «взбесившейся барыней», а великим современным поэтом, хранящим «завещанную Пушкиным высокую культуру слова». У нас ведь всегда так – чтобы стать великим, прежде всего надо умереть.

Я замерла на месте.

– Андрюша… ты гений!

– Знаю, – тут же согласился он. – А в чем моя гениальность проявилась на этот раз?

– Ты же сам объяснил, почему нельзя выносить вердикт, что Ахматова не склонна к суициду. – Я схватила его за руку. – Она считает себя великой, я это поняла по первому же разговору. А на что она готова, чтобы и другие поняли ее величие?

– Ого… – Андрей перестал улыбаться. – Но для этого надо быть на самом деле ненормальной.

Я вспомнила артистов, писателей, режиссеров, виденных мною в нашем психиатрическом отделении. А есть ли среди творческих личностей люди нормальные в том смысле, который мы обычно вкладываем в это слово?

Впрочем, поделиться этим философским соображением с мужем мне не удалось. Точку в разговоре поставили макароны, которые, будучи предоставлены сами себе, тут же с шипением убежали. Я кинулась спасать ужин, Андрей – свой костюм, и тема была временно закрыта.

* * *

После ужина мы с Андреем занялись каждый своей работой – он в спальне, а я в кабинете. Вообще-то это был его кабинет, такую невиданную роскошь, как дополнительную комнату, выделили ему после того, как он был выдвинут на Сталинскую премию. Премию он, конечно, не получил, но даже кандидатом стать очень почетно и, как оказалось, выгодно – после многих лет по коммуналкам мы в одночасье получили трехкомнатную квартиру на троих, а поскольку Маша после эвакуации осталась заканчивать школу у бабушки, мы и вовсе оказались тут вдвоем.

Но Андрею кабинет не нравился тем, что в окна по вечерам светило солнце, поэтому он после обеда перебирался за письменный стол в спальне. Ну а я занимала его кресло, и мы могли работать, не мешая друг другу.

Какое все-таки счастье, когда есть возможность работать в тишине и одиночестве, и никто не шумит над ухом, никакие соседи не стучатся в дверь с дурацкими вопросами… Можно спокойно открыть свои стенографические заметки и восстановить в памяти разговор с пациентом.

«…В первый раз я стала писать свою биографию, когда мне было одиннадцать лет, в разлинованной красным маминой книжке для записывания хозяйственных расходов. Это был 1900 год. Когда я показала свои записи старшим, они сказали, что я

помню себя чуть ли не двухлетним ребенком…»

Ахматова рассказала это легко, словно походя, видимо не задумываясь, какая это для меня ценная информация. Нет, ничего нового я не узнала, но зато получила серьезное подтверждение своей внутренней уверенности, что она рассказывает давно затверженный текст. Сколько раз она с тех пор писала и переписывала свою биографию? И сколько правды в ней осталось?

С другой стороны, для меня важно даже не искренность ее рассказа, а ответ на вопрос, для чего она это делает. Какова цель того, чтобы самой составить собственное жизнеописание? Только для того, чтобы облегчить жизнь будущим биографам? Или, если отталкиваться от идеи Андрея, она творит свой будущий великий посмертный миф?

«…В семье никто, сколько глаз видит кругом, стихи не писал, только первая русская поэтесса Анна Бунина была теткой моего деда Эразма Ивановича Стогова. Стоговы были небогатые помещики Можайского уезда Московской губернии, переселенные туда за бунт при Марфе Посаднице. В Новгороде они были богаче и знатнее.

Моего предка хана Ахмата убил ночью в его шатре подкупленный убийца, и этим, как повествует Карамзин, кончилось на Руси монгольское иго. В этот день, как в память о счастливом событии, из Сретенского монастыря в Москве шел крестный ход. Этот Ахмат, как известно, был чингисидом.

Одна из княжон Ахматовых – Прасковья Егоровна – в XVIII веке вышла замуж за богатого и знатного симбирского помещика Мотовилова. Егор Мотовилов был моим прадедом. Его дочь Анна Егоровна – моя бабушка. Она умерла, когда моей маме было девять лет, и в честь ее меня назвали Анной. Из ее фероньерки сделали несколько перстней с бриллиантами и одно с изумрудом, а ее наперсток я не могла надеть, хотя у меня были тонкие пальцы…»

И опять тот же вопрос. Что это – просто рассказ о собственных предках или еще один кусочек собственного мифа? Я склонялась ко второму, хотя понимала, что пока у меня нет никаких доказательств, только интуиция. Впрочем, интуиция ли? Может быть, дело скорее в опыте: если вспомнить моих прежних пациентов и просто знакомых деятелей культуры – они практически все были склонны к такому же мифотворчеству. Их предки непременно были князьями (вот уж чего вроде бы трудно ожидать от советских деятелей культуры, но факт остается фактом), героями Наполеоновских или Кавказских войн, крепостными актерами Шереметева, а если простыми

крестьянами, то обязательно участниками Пугачевского бунта и героями Гражданской, воевавшими рядом с самим Чапаевым.

Исключение, пожалуй, было только одно – знаменитая «дочь небогатого нефтепромышленника», которой не надо ничего придумывать о предках, потому что она сама безо всяких усилий стала легендой уже при жизни. Кстати, вот с кем надо поговорить, ведь они давние подруги. Может, хоть она убедит Ахматову, что я ей не враг и со мной можно быть хоть немного более искренней. С другой стороны, дает ли мне право давнее и не слишком близкое знакомство…

Мои размышления прервал телефонный звонок. Все-таки у того, что Андрей уступал мне кабинет, был один недостаток – звонили в основном ему, а отвечать приходилось мне.

– Квартира Никитиных, – сказала я.

– Здравствуйте, Танечка.

Я от неожиданности даже не сразу поверила, что мне не послышалось.

– Здравствуйте, Фаина Георгиевна. Богатой будете – я только что вас вспоминала.

Сказала и тут же сообразила, что перепутала приметы, богатым будешь – если тебя не узнали. К счастью, она не стала насмешничать по этому поводу, а только рассмеялась своим необыкновенным смехом, от которого по спине бежали приятные мурашки.

– Богатой я уже не буду. Да и что мне делать с деньгами, ума не приложу. Ненавижу их, хотя точно знаю: страшны не деньги, а безденежье.

– Фаина Георгиевна, вы, как всегда, гениальны. За вами нужно с записной книжкой ходить. Муж недавно рассказывал…

Она прервала меня:

– Он ведь у вас журналист? Ох уж эти несносные журналисты! Половина лжи, которую они распространяют обо мне, не соответствует действительности.

Я расхохоталась и жестами показала заглянувшему в кабинет Андрею, что это мне звонят. А она тем временем перешла к делу.

– Танечка, давно я вас не видела. Кажется, с тех пор, как вы доказали мне, что у меня мания величия.

– Я этого не говорила! – в очередной раз попыталась откреститься я, хоть и знала, что ее не переспорить, она так и будет до конца жизни припоминать мне эту неудачную попытку объяснить на конкретном примере, что такое мания величия.

– Вот приходите ко мне в гости, поговорим об этом за чашкой чая, – заявила она и безапелляционно добавила, что ждет меня завтра в десять утра.

К счастью, завтра было воскресенье, а то ведь с нее сталось бы назначить встречу и на рабочий день. Что поделаешь, у артистов свое видение мира, а у гениальных – тем более.

Я положила трубку и задумалась. Звонок не был случайным, это несомненно. Не могла лучшая подруга Ахматовой случайно позвонить мне именно сейчас, таких совпадений не бывает.

Но зачем я ей нужна? Хочет выяснить, что именно мне поручено? Не исключено, я ведь знаю, какие легенды ходят о нашем отделении. Сама слышала, что, дескать, все наши врачи-психиатры работают на НКВД… точнее, МВД, его ведь недавно переименовали. Впрочем, дело не в названии, все равно все знают, что новое МВД – это все то же старое НКВД.

К тому же, если мне самой пришло в голову, что мне хотят поручить что-нибудь страшное, это наверняка подумали и другие. Пожалуй, прежде чем дальше разговаривать с Ахматовой, мне надо побольше узнать о том, в чем ее обвиняют. Тогда можно будет хотя бы примерно догадаться, хотят ее уничтожить или просто решили хорошенько припугнуть.

– Андрюша, – я заглянула в спальню, – дай мне какую-нибудь газету с докладом товарища Жданова. Желательно с самим докладом, а не пересказом.

– У меня есть кое-что получше. – Он покопался в своем портфеле и вынул тонкую папку. – Держи.

Там оказались несколько подшитых страниц под заголовком «Из сокращенной и обобщенной стенограммы докладов т. Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде».

– Разослали в редакции, чтобы мы знали, на что опираться и что цитировать, – пояснил Андрей в ответ на мой вопросительный взгляд.

– Спасибо! Что бы я без тебя делала.

Он, разумеется, не мог упустить такой момент и тут же спросил:

– Может, все-таки дашь почитать, что там твоя пациентка рассказывает?

– Может, и дам, – согласилась я, вспоминая гладкий рассказ Ахматовой о ее жизни. Пока там на самом деле скрывать нечего, можно не беспокоиться о врачебной этике. – Когда секретарь стенограмму расшифрует. Если у меня не отберут все материалы, конечно.

Андрей довольно ухмыльнулся и вернулся к работе.

– Ловлю на слове.

* * *

Из сокращенной и обобщенной стенограммы докладов т. Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде.

Перехожу к вопросу о литературном «творчестве» Анны Ахматовой. Ее произведения за последнее время появляются в ленинградских журналах в порядке «расширенного воспроизводства». Это так же удивительно и противоестественно, как если бы кто-либо сейчас стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба, Зиновьевой-Аннибал и т. д. и т. п., т. е. всех тех, кого наша передовая общественность и литература всегда считали представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве. <…>

Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии – поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. Основное у нее – это любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности – чувство, понятное для общественного сознания вымирающей группы, – мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой – таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культуры, «добрых старых екатерининских времен». Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой.

Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом…

(Ахматова «Anno Domini»)

Такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой. <…>

Товарищ Сталин неоднократно указывает на то, что важнейшим условием нашего развития является необходимость того, чтобы каждый советский человек подводил итог своей работы за каждый день, безбоязненно проверял бы себя, анализировал свою работу, мужественно критиковал свои недостатки и ошибки, обдумывал бы, как добиться лучших результатов своей работы, и непрерывно работал бы над своим

совершенствованием. К литераторам это относится в такой же мере, как и к любым другим работникам. Тот, кто боится критики своей работы, тот презренный трус, не достойный уважения со стороны народа. (Бурные аплодисменты.) <…>

Все мы любим Ленинград, все мы любим нашу ленинградскую партийную организацию как один из передовых отрядов нашей партии. В Ленинграде не должно быть прибежища для разных примазавшихся литературных проходимцев, которые хотят использовать Ленинград в своих целях. Для Зощенко, Ахматовой и им подобных Ленинград советский не дорог. Они хотят видеть в нем олицетворение иных общественно-политических порядков и иной идеологии. Старый Петербург, Медный всадник как образ этого старого Петербурга, – вот что маячит перед их глазами. А мы любим Ленинград советский, Ленинград как передовой центр советской культуры. Славная когорта великих революционных и демократических деятелей, вышедших из Ленинграда, – это наши прямые предки, от которых мы ведем свою родословную. Славные традиции современного Ленинграда есть продолжение развития этих великих революционных демократических традиций, которые мы ни на что другое не сменяем. Пусть ленинградский актив смело, без оглядки назад, без «подрессоривания» проанализирует свои ошибки, чтобы как можно лучше и быстрее выправить дело и двинуть нашу идейную работу вперед. Ленинградские большевики должны вновь занять свое место в рядах застрельщиков и передовиков в деле формирования советской идеологии, советского общественного сознания. (Бурные аплодисменты.) <…>

Как бы буржуазные политики и литераторы ни старались скрыть от своих народов правду о достижениях советского строя и советской культуры, как бы они ни пытались воздвигнуть железный занавес, за пределы которого не могла бы проникнуть за границу правда о Советском Союзе, как бы они ни тщились умалить действительный рост и размах советской культуры – все эти попытки обречены на провал. Мы очень хорошо знаем силу и преимущество нашей культуры. Достаточно напомнить потрясающие успехи наших культурных делегаций за границей, наш физкультурный парад и т. д. Нам ли низкопоклонничать перед всей иностранщиной или занимать пассивно оборонительную позицию! <…>

Несмотря на то что я все это уже читала, пусть частями и в пересказе журналистов, ощущение было мерзкое. Мешанина пустых лозунгов и таких же пустых обвинений, которые казались смешными даже мне, мало знакомой с творчеством Ахматовой. Точнее, это было бы смешно, если бы у доклада был другой автор.

А над речами Жданова особо не посмеешься…

Я неловко повернулась, столкнула локтем пресс-папье и сама едва не подскочила на месте, когда оно с грохотом упало на пол. Сердце заколотилось так, что, кажется, вот-вот выскочит.

– Таня, что у тебя за шум? – раздался из-за двери голос Андрея.

– Ничего особенного, пресс-папье уронила, – громко ответила я и вновь разозлилась на свой дрожащий голос. Шалят нервишки, впору самой к кому-нибудь из коллег-психиатров идти, раз при мысли о товарище Жданове руки трястись начинают. Хотя, подозреваю, они у всех трясутся, просто все молчат…

Так, хватит! Подобные мысли даже в голову допускать нельзя. И вообще, я читала этот отвратительный доклад не для того, чтобы размышлять о мировой справедливости или ситуации в обществе.

Я вновь внимательно изучила текст, стараясь абстрагироваться от эмоций и вникнуть в суть, понять, что именно и зачем было сказано. Жаль, я никогда особо не интересовалась предреволюционными поэтами. Но кажется, Мережковский и Гиппиус умерли в эмиграции, а Белый вернулся и умер спустя несколько лет в Советском Союзе. Его вроде бы не печатали, но и не преследовали. В голове всплыли какие-то смутные воспоминания, кажется, Андрей мне что-то про это рассказывал еще до войны.

– Андрюша, – я вновь заглянула в спальню, – прости, милый, что снова отрываю от работы. Но ты не помнишь случайно, ты когда-то рассказывал мне что-то об Андрее Белом.

– Что-то когда-то? – фыркнул он, но все же задумался. – Наверное, речь шла о его некрологе.

– Он был какой-то необычный?

– Еще бы! – Андрей огляделся, словно надеясь, что нужная газета окажется под рукой. – Нет, уже не найду, это надо в архиве копаться. Я уже не помню подробностей, но суть в том, что Пастернак написал, а «Известия» напечатали о нем такой некролог, какого и лауреаты Сталинской премии не всегда удостаиваются. Его там называли гением, превзошедшим Брюсова, Сологуба и всех прочих символистов.

– Спасибо… – медленно сказала я, обдумывая услышанное.

– Ты считаешь, что Жданов не зря о нем упомянул? – заинтересовался Андрей.

Пришлось честно признаться:

– Я не уверена. Но думаю все же, что раз он сравнивает ее с поэтами, которых просто решено предать забвению, а не с Гумилевым или… – Я хотела назвать Заболоцкого, но вспомнила,

что его опала уже кончилась и он не только вернулся из лагеря, но, кажется, даже восстановлен в Союзе писателей. – Ну… Бабелем, например. Так что твоя теория насчет ее будущего мне кажется все более и более вероятной.

– Думаешь, это временная опала?

– Думаю, ее хотят хорошенько приструнить, показать ей ее место. И неудивительно – ты бы ее видел, она даже сейчас держится как королева. Представляю, как многих она этим раздражает.

– Решили, значит, сбить спесь… – с интересом протянул Андрей. – Эх, жаль, что я не могу с ней познакомиться!

– Даже не думай! – испугалась я. – Карьеру погубишь! Это я могу общаться с опальными поэтами, да и то лишь по работе.

Андрей вздохнул.

– Конечно, я не собираюсь. Просто так сказал. Только тебе.

Я удовлетворенно кивнула. Его вечная жизнерадостность слишком часто бывает похожа на легкомыслие. К счастью, это только видимость, на самом деле он достаточно практичен и очень дорожит своей карьерой.

Вернувшись в кабинет, я вновь взяла папку с докладом Жданова, но перечитывать его уже не стала. Самое важное я из него, кажется, уже вычленила. Ахматова кому-то очень сильно не нравится. Не мешает – тогда бы ее просто уничтожили. Именно не нравится, раздражает, вызывает желание унизить.

Это и есть главная цель устроенного публичного осуждения. Что-то вроде средневекового позорного столба, когда человека привязывали в центре площади и все хулиганы и мерзавцы бросали в него тухлые яйца, а то и камни.

Может быть, я и не права, это только теория, и таковой она и останется – вряд ли я когда-нибудь узнаю правду. Но я была почти уверена, что дальше публичного унижения дело не пойдет. Ахматова привязана к позорному столбу, теперь ее еще долго будут обливать грязью, трусливые «друзья» от нее разбегутся, работы у нее не будет. Что ей останется – умирать с голоду или просить о милости. В любом случае спесь с нее, как правильно сказал Андрей, собьют.

Глава 2

– Доброе утро, Фаина Георгиевна. – Ровно в десять утра я уже стояла на пороге с бутылкой довоенного коньяка, которую удалось выпросить у Андрея. – Как вы себя чувствуете?

Вопрос сорвался с языка сам собой – выглядела она очень плохо. Хотя мы ведь не виделись несколько лет, к тому же военных лет, чего еще можно было ожидать. К счастью, на ее знаменитом юморе время никак не сказалось.

– У меня отвратительные паспортные данные, – с неподражаемым трагизмом в голосе заявила она. – Посмотрела в паспорт, увидела, в каком году я родилась, и только ахнула…

Впрочем, ее бодрость оказалась все же наносной. Через несколько минут и несколько глотков коньяка она загрустила и заговорила о том, чего я от нее и ждала, – об Ахматовой.

– Я познакомилась с Ахматовой очень давно. Я тогда жила в Таганроге. Прочла ее стихи и поехала в Петербург. Открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала: «Вы мой поэт», – извинилась за нахальство. Она пригласила меня в комнаты…

Кажется, ей надо было выговориться. А кто может быть лучшим слушателем, чем врач-психиатр? Не говоря уж о том, что мы обе знали – об Ахматовой я сейчас буду слушать что угодно и сколько угодно. Взгляд со стороны мне очень пригодится.

Не исключала я и вероятности, что Фаина Георгиевна кроме всего прочего хочет создать у меня тот образ Ахматовой, который ей нужен. Она ведь очень умная, куда умнее, чем предпочитает казаться, и к тому же великая актриса, может убедить в своей искренности любого. Но в любом случае менее ценными ее откровения от этого не становились.

Мне оставалось только слушать и пытаться вычленить из ее слов главное.

«…Я никогда не обращалась к ней на «ты». Мы много лет дружим, но я просто не могла бы обратиться к ней так фамильярно…»

Я вспомнила величественную даму с проницательным взглядом из-под седой челки, изящными движениями красивых рук и королевской осанкой. Да, это вполне правдоподобно, верю, что все знакомые обращаются к ней исключительно на «вы». И несомненно, это очень многих выводит из себя.

«…Она великая во всем. Я видела ее кроткой, нежной, заботливой. И это в то время, когда ее терзали.

А какая она труженица: и корейцев переводит, и Пушкиным занимается…»

Вот тут попробуй пойми, что это – слепое обожание или факты. Но Пушкина я взяла на заметку, если он действительно интересует Ахматову, то вот и тема для разговора.

«…В Ташкенте Анна Андреевна писала пьесу, в которой предвосхитила все, что с ней происходит сейчас. Потом пьесу сожгла…

В пьесе был человек, с которым героиня вела долгий диалог, которого я не поняла, отвлеченный, философский, и по словам Анны Андреевны, этот человек из пьесы к ней пришел однажды, и они говорили до рассвета. Об этом визите она часто вспоминала, восхищаясь ночным собеседником…»

Тут Фаина Георгиевна слегка запнулась, решив, видимо, что сказала лишнее – психиатр может и неправильно понять подобный разгул поэтического воображения. Поэтому она сразу перевела разговор на недавние события – их жизнь в эвакуации.

«…Анна Андреевна была бездомной, как собака.

…В первый раз, придя к ней в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином.

– Я буду вашей мадам де Ламбаль, пока мне не отрубили голову – истоплю вам печку.

– У меня нет дров, – сказала она весело.

– Я их украду.

– Если вам это удастся – будет мило.

Большой каменный саксаул не влезал в печку, я стала просить на улице незнакомых людей разрубить эту глыбу. Нашелся добрый человек, столяр или плотник, у него за спиной висел ящик с топором и молотком. Пришлось сознаться, что за работу мне нечем платить. «А мне и не надо денег, вам будет тепло, и я рад за вас буду, а деньги что? Деньги это еще не все».

Я скинула пальто, положила в него краденое добро и вбежала к Анне Андреевне.

– А я сейчас встретила Платона Каратаева.

– Расскажите…

«Спасибо, спасибо», – повторяла она; это относилось к нарубившему дрова. У нее оказалась картошка, мы ее сварили и съели.

Никогда не встречала более кроткого, непритязательного человека, чем она…»

Я слушала не прерывая. Мадам де Ламбаль? Кажется, это приближенная королевы Марии-Антуанетты. Интересно, сама Ахматова тоже чувствует себя королевой, или это личный взгляд Фаины Георгиевны? Я в очередной раз подумала: неудивительно, что Ахматова кого-то так сильно раздражает. Даже когда она

бездомная и голодная где-то в Ташкенте, она все равно королева, и самая знаменитая артистка СССР топит ей печку и варит картошку.

«…Однажды в Ташкенте Анна Андреевна написала стихи о том, что, когда она умрет, ее пойдут провожать: «Соседки из жалости – два квартала, старухи, как водится, – до ворот», – прочитала их мне, а я говорю: «Анна Андреевна, из этого могла бы получиться чудесная песня для швейки. Вот сидит она, крутит ручку машинки и напевает». Анна Андреевна хохотала до слез, а потом просила: «Фаина, исполните «Швейкину песню»!»

Вот ведь какой человек: будь на ее месте не великий поэт, а средненький – обиделся бы на всю жизнь. А она была в восторге… Была вторая песня, мотив восточный: «Не любишь, не хочешь смотреть? О как ты красив, проклятый!!!» – и опять она смеялась.

Там, куда приехала Анна Андреевна в Ташкенте, где я жила с семьей во время войны, во дворе была громадная злая собака. Анна Андреевна боялась собак. Собаку загоняли в будку. Потом при виде Анны Андреевны собака пряталась по собственной инициативе. Анну Андреевну это очень забавляло: «Обратите внимание, собака при виде меня сама уходит в будку».

…Маленький Алеша, сын Ирины Вульф, в то время, когда она у нас обедала, долго смотрел на нее, а потом сказал, что она «мировая тетя». Анна Андреевна запомнила это настолько, что, когда мальчик подрос, с огорчением сказала мне: «Алеша будет знать обо мне теперь из учебника по литературе…»

…В Ташкенте она звала меня часто с ней гулять. Мы бродили по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня!» Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность. Я сказала об этом Анне Андреевне. «Сжала руки под темной вуалью» – это тоже мои Мули», – ответила она.

Я закричала: «Не кощунствуйте!»

Признаться честно, на этом моменте я слегка смутилась и мысленно поставила себе еще одну галочку – обязательно найти и прочитать сборник стихов Ахматовой. Хоть какой-нибудь. Потому что я у нее тоже знала только «Сжала руки под темной вуалью» и еще «Сероглазый король», да и то не как стихотворение, а как романс, который был у нас на пластинке. Правда, добыть сейчас ее книгу будет непросто, ведь не спросишь никого – все отопрутся, скажут, что не держат дома таких «реакционных» авторов.

Хотя что это я, неожиданно поглупела, что ли? Надо у Фаины Георгиевны попросить! Перед уходом, конечно, а пока нельзя

сбивать ее с рассказа.

«…У нее был талант верности. Мне известно, что в Ташкенте она просила Лидию Корнеевну Чуковскую у нее не бывать, потому что Лидия Корнеевна говорила недоброжелательно обо мне.

…Часто замечала в ней что-то наивное, это у Гения, очевидно, такое свойство. Она видела что-то в человеке обычном – необычное или наоборот…

Ахматова чудо. Оценят ли ее потомки? Поймут ли? Узнают в ней Гения? Нет, наверно.

…Как-то Анна Ахматова за что-то на меня рассердилась. Я, обидевшись, сказала ей что-то дерзкое. «О, наша фирма – два петуха!» – засмеялась она.

…В Ташкенте мы обе были приглашены к местной жительнице, сидели в комнате комфортабельной городской квартиры. В комнату вошел большой баран с видом человека, идущего по делу. Не глядя на нас, он прошел в сад. Это было неожиданно и странно. И потом, через много месяцев, она говорила: «А вы помните, как в комнату пришел баран и как это было удивительно. Почему-то я не могу забыть этого барана». Я пыталась объяснить это неизгладимое впечатление с помощью психоанализа. «Оставьте, вы же знаете, что я ненавижу Фрейда», – рассердилась она.

Однажды я спросила ее: «Стадо овец… кто муж овцы?» Она сказала: «Баран, так что завидовать ему нечего». Сердито ответила, была чем-то расстроена…»

Ненавидит именно Фрейда или весь психоанализ? Это важный вопрос, жаль, его никому не задашь. Ахматова слишком умна, чтобы не понимать, что пусть я и называюсь психиатром, но моя работа во многом связана именно с психоанализом. Только открыто об этом говорить нельзя, потому что советская наука – это психиатрия, а психоанализ – буржуазная лженаука.

– Вы меня не слушаете? – вдруг сказала Фаина Георгиевна.

В ее голосе звучало сильное негодование, я даже испугалась, что она меня сейчас выгонит.

– Нет, что вы! – поспешила я заверить ее. – Наоборот! Вы рассказываете такие важные вещи, а я не могу их даже записать. Приходится сразу анализировать в уме и пытаться все запомнить, а это очень тяжело.

Она смягчилась и сказала:

– У меня есть некоторые записи о ней. В черновиках. Я могу дать вам их на время.

– Обещаю, что кроме меня их никто не увидит, – тут же сказала я. – Вы бы очень мне этим помогли.

Она не стала вызывать домработницу, ушла в соседнюю

комнату и сама принесла оттуда папку с бумагами. Не в силах сдержать любопытство, я сразу туда заглянула и обрадовалась:

– Вы пишете мемуары?

Я знала, что ее давно уговаривают написать историю своей жизни, но прежде она всегда отказывалась это делать.

– Пытаюсь, – она усмехнулась. – Пока не выходит. Писать о себе плохо – не хочется. Хорошо – неприлично. Значит, надо молчать. К тому же я опять стала делать ошибки, а это постыдно. Это как клоп на манишке.

Возникла неловкая пауза, как это часто бывает, когда иносказательно говорят о чем-то запрещенном. Я положила папку в сумку и решительно сказала:

– Фаина Георгиевна, давайте говорить прямо. Вы ведь чего-то от меня хотите? Чего именно? Чтобы я помогла Ахматовой? Я сделаю все что смогу. Или вы хотите что-то узнать?

Она серьезно посмотрела на меня.

– Вам звонили, говорили о ней?

– Конечно, – кивнула я. – Но ничего секретного не поручали. Сказали, что нужно выяснить, есть ли у нее намерение покончить жизнь самоубийством или нет. И все.

Она снова помолчала и неожиданно заявила:

– Танечка, а вы не удивились, что Анну Андреевну направили к вам, а не к ленинградскому психиатру?

Как ни странно, это мне не приходило в голову. Похоже, меня хорошо вымуштровали – я даже не задумываюсь над тем, почему каких-то спецпациентов направляют именно ко мне. Раз присылают, значит надо, и все.

– Это вы сделали?

Она протестующе вскинула руки.

– Что вы! Разве мне такое под силу? Это сделали друзья Анны Андреевны, а я только дала им совет.

– Так чего же вы ждете от меня?

Фаина Георгиевна серьезно взглянула мне в глаза.

– Помощи. Анне Андреевне она очень нужна. – Она вновь помолчала, а потом с горечью продолжила: – Помню, как примчалась к ней после Постановления. Она открыла мне дверь, потом легла, тяжело дышала… В доме было пусто. Пунинская родня сбежала. Она молчала, я тоже не знала, что ей сказать. Она лежала с закрытыми глазами. Я видела, как менялся цвет ее лица. Губы то синели, то белели. Внезапно лицо становилось багрово-красным и тут же белело. Я подумала о том, что ее «подготовили» к инфаркту. Молчали мы обе. Хотелось напоить ее чаем – отказалась. В доме не было ничего съестного. Я помчалась в лавку, купила что-то нужное, хотела ее кормить. Она лежала, ее

знобило. Есть отказалась. Это день ее муки и моей муки за нее. Об «этом» не говорили. Через какое-то время она стала выходить на улицу. И подведя меня к газете, прикрепленной к доске, сказала: «Сегодня хорошая газета, меня не ругают». И только через много дней вдруг сказала: «Скажите, зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей его техникой, понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?» И опять молчала… Я пригласила ее пообедать. «Хорошо, но только у вас в номере». Очевидно, боялась встретить знающих ее в лицо. В один из этих страшных дней спросила: «Скажите, вам жаль меня?» «Нет», – ответила я, боясь заплакать. «Умница, меня нельзя жалеть…»

Когда я уходила от Фаины Георгиевны, прижимая к груди сумку со страничками из ее черновиков и двумя томиками стихов, на пороге я столкнулась не с кем иным, как с самой Ахматовой. Правда, признаться честно, я ожидала этой встречи – ближе к концу нашего разговора Фаина Георгиевна стала все чаще поглядывать на дверь, потом вдруг в комнату просунула голову ее домработница и сразу вновь исчезла, а она резко начала прощаться со мной.

Ахматова окинула меня надменно-удивленным взглядом и вопросительно посмотрела на Фаину Георгиевну.

– Анна Андреевна, – ласково сказала та, – это Танечка, я знала ее еще ребенком, в Таганроге. Но она уже уходит.

– Здравствуйте, Анна Андреевна, – сказала я.

Ее взгляд стал задумчивым, а на губах появилась полуулыбка.

– Здравствуйте, Татьяна Яковлевна. – Она подала мне руку.

Кажется, лед был сломан.

Как мне хотелось остаться и поговорить – я уверена, что именно в тот момент Ахматова была бы со мной максимально искренна. Но увы, я хорошо понимала, почему Фаина Георгиевна устроила нашу встречу именно так – она приходит, а я ухожу.

Конечно же за Ахматовой сейчас следят, и уже вечером отчет о том, с кем она виделась, ляжет на чей-то стол, и кто-то, чьего имени я никогда не узнаю, наберет мой номер. Врачу-психиатру нельзя встречаться со спецпациентом вне больницы, если на то нет особого разрешения. И в данном случае за соблюдением этого правила, без сомнения, наблюдают с особой строгостью.

Пришлось раскланяться и поспешно спуститься во двор. Там я едва удержалась от того, чтобы оглядеться по сторонам – было очень интересно, кто следит за Ахматовой. Парень, курящий на скамейке? Молодая женщина с коляской? Или кто-то еще, кого я не заметила?

В любом случае мне сегодня позвонят. Ну да ладно…

* * *

Дома я открыла черновики Фаины Георгиевны, но, подумав, отложила их, решив сначала закончить с записями нашего разговора с Ахматовой. Завтра мне надо будет отдать их секретарю на расшифровку, поэтому дочитать и внести все пометки необходимо непременно сегодня.

«…Училась я в Царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно.

В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных стихов. Отзвуки революции Пятого года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории. Последний класс проходила в Киеве, в Фундуклеевской гимназии, которую и окончила в 1907 году.

Я поступила на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна; когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела.

В 1910 году 25 апреля старого стиля я вышла замуж за Николая Гумилева, и мы поехали на месяц в Париж.

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа, которую описал Золя, была еще не совсем закончена. Вернер, друг Эдисона, показал мне в Taveme du Pantheon два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы, тут – большевики, а там – меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravees). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

Переехав в Петербург, я училась на Высших историко-литературных курсах Раева. В это время я уже писала стихи, вошедшие в мою первую книгу.

Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете.

В 1910 году явно обозначился кризис символизма, и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие – в акмеизм. Вместе с моими товарищами по «Первому Цеху поэтов» – Мандельштамом, Зенкевичем и Нарбутом – я сделалась акмеисткой.

Весну 1911 года я провела в Париже, где была

свидетельницей первых триумфов русского балета. В 1912 году проехала по Северной Италии (Генуя, Пиза, Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция). Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно: оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь.

В 1912 году вышел мой первый сборник стихов – «Вечер». Напечатано было всего триста экземпляров. Критика отнеслась к нему благосклонно.

1 октября 1912 года родился мой единственный сын Лев.

В марте 1914 года вышла вторая книга – «Четки». Жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. Время распорядилось иначе…»

Так много о стихах и так мало о муже и сыне… Причем на память она явно не могла пожаловаться – запомнила же парижские штаны и социалистов, собиравшихся в неком месте, название которого я не поняла и записала примерно, на слух. Ну хорошо, о муже она могла просто бояться говорить, я уже привыкла к тому, что арестованных по политическим статьям родственников многие люди стараются не вспоминать, словно их и не было никогда. Но сын? Ведь вроде бы рассказывают, что она его любит. Или все-таки стихи ей дороже?

Я поспешила остановить поток размышлений. Нельзя делать выводы по первой беседе с пациентом, к тому же не доверяющим мне и даже в какой-то степени враждебно настроенным. Она разговаривала со мной лишь потому, что у нее не было другого выхода. Вот если… точнее, когда она пожелает хоть чуть-чуть раскрыться, тогда я смогу говорить более уверенно. А она раскроется, теперь, после сегодняшней короткой встречи, я была в этом практически уверена.

«…Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии, в пятнадцати верстах от Бежецка. Это неживописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, «воротца», хлеба, хлеба… Там я написала очень многие стихи «Четок» и «Белой стаи». «Белая стая» вышла в сентябре 1917 года.

К этой книге читатели и критика несправедливы. Почему-то считается, что она имела меньше успех, чем «Четки». Этот сборник появился при еще более грозных обстоятельствах.

Транспорт замирал – книгу нельзя было послать даже в Москву, она вся разошлась в Петрограде. Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому в отличие от «Четок» у «Белой стаи» не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днем. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются.

После Октябрьской революции я работала в библиотеке Агрономического института. В 1921 году вышел сборник моих стихов «Подорожник», в 1922 году – книга «Anno Domini».

Примерно с середины 20-х годов я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина. Результатом моих пушкинских штудий были три работы – о «Золотом петушке», об «Адольфе» Бенжамена Констана и о «Каменном госте»…»

Я отложила записи, достала книгу, которую дала мне Фаина Георгиевна, и раскрыла наугад.

Высокие своды костела
Синей, чем небесная твердь…
Прости меня, мальчик веселый,
Что я принесла тебе смерть…

Как странно вот так сразу попасть на стихотворение о смерти. Или у нее их много? Я внимательно прочитала «Высокие своды костела» и задумалась. Речь идет о чьем-то самоубийстве, это несомненно. Но тон… тон мне не понравился. Чувство вины в нем смешивалось с каким-то торжеством романтизма в духе буржуазных романов XVIII века, которые ввели среди скучающей молодежи моду на самоубийства.

С другой стороны, книга 1923 года издания, а написаны эти стихи и того раньше, то есть Ахматова тогда была молода, романтична и следовала модным веяниям. А насколько такие увлечения молодости влияют на тягу к самоубийству в зрелом возрасте, увы, неизвестно, поскольку суицидологии у нас вроде как не существует, а значит, серьезные теоретические исследования по ней не проводятся.

Смешно и страшно, ведь мы вполне официально и с разрешения высших лиц партии занимаемся тем, чего вроде бы и нет, просто прикрывая это подходящим названием. Ведь формально суицидальной психологии у нас действительно не существует – все открытые исследования в области суицидологии были закрыты вскоре после революции, когда было официально заявлено, что при социализме отсутствуют социальные предпосылки для совершения самоубийств.

Я еще успела застать в самом начале своей работы сектор

социальных аномалий при Центральном статистическом управлении, но довольно скоро его тоже закрыли, и изучение суицидологии перешло в руки психиатров, которым было приказано рассматривать склонность к самоубийству только как психическую патологию.

Как ученый я понимаю, что это был огромный шаг назад – мы вернулись к теориям начала XIX века, когда Доминик Эскироль впервые написал: «В самоубийстве проявляются все черты сумасшествия. Только в состоянии безумия человек способен покушаться на свою жизнь, и все самоубийцы – душевно больные люди». Для его времени это был настоящий прорыв, но для середины XX века страшный регресс. Но какая разница, что я думаю, пусть даже то же самое думают все ведущие психиатры страны. Против линии партии идти бессмысленно. Остается одно – работать в разрешенных рамках, старясь только особо не навредить.

Сейчас все, кто подозревается в желании совершить самоубийство, подлежат обязательному направлению в психиатрические стационары для диагностики их психического состояния и лечения. И все делают вид, будто не знают, что врачи, работая с этими пациентами, пользуются не существующим и запрещенным психоанализом… Парадокс на парадоксе. Ну а те, кто никаких признаков не проявлял, а просто покончил с собой, считаются все равно сумасшедшими, которых врачи проглядели…

Я со вздохом пролистала несколько страниц и вновь зацепилась взглядом за строки о смерти.

Тихий дом мой пусть и неприветлив,
Он на лес глядит одним окном,
В нем кого-то вынули из петли
И бранили мертвого потом.

А заканчивалось стихотворение словами:

Мне не страшно. Я ношу на счастье
Темно-синий шелковый шнурок.

Я закрыла книгу и задумалась. Итак, у меня в руках стопроцентное доказательство того, что Ахматова думала о самоубийстве. Серьезно или не очень, по собственному почину или поддаваясь общей моде, но она об этом думала. Стихотворение датировано 1912 годом, а то, предыдущее – 1913-

м. Значит, придется подробнее поговорить об этих годах. Вышла замуж, родился сын, и где-то в то же время произошло какое-то событие, заставившее ее носить с собой шнурок или хотя бы представлять, что носит.

Хлопнула дверь, и мне пришлось отложить работу – пришел Андрей, который напомнил мне, что мы сегодня приглашены в гости к его друзьям. Робкие попытки возразить, что у меня много дел, успеха не имели – Андрей был неумолим, поскольку речь шла не просто о друзьях, а о людях, от которых зависела его карьера. Пришлось спешно наряжаться и бежать к приятельнице-парикмахерше, чтобы не опозорить мужа перед нужными людьми.

В итоге к работе над записями я вернулась только поздно вечером. К счастью, там оставалось немного – тридцатые годы Ахматова словно выбросила из жизни, не обозначив ни единым словом, как будто после двадцатых сразу наступил 1941 год. Но зато она не побоялась упомянуть своего товарища по несчастью – писателя Зощенко, также разгромленного товарищем Ждановым.

«…С середины 20-х годов мои новые стихи почти перестали печатать, а старые – перепечатывать.

Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде. В конце сентября, уже во время блокады, я вылетела на самолете в Москву.

До мая 1944 года я жила в Ташкенте, жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. Как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. В Ташкенте я впервые узнала, что такое в палящий жар древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много и тяжело болела.

В мае 1944 года я прилетела в весеннюю Москву, уже полную радостных надежд и ожидания близкой победы. В июне вернулась в Ленинград.

Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе. Тогда же возникли очерки «Три сирени» и «В гостях у смерти» – последнее о чтении стихов на фронте в Териоках. Проза всегда казалась мне и тайной и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи – я никогда ничего не знала о прозе. Первый мой опыт все очень хвалили, но я, конечно, не верила. Позвала Зощенко. Он велел кое-что убрать и сказал, что с остальным согласен. Я была рада.

Но я не переставала писать стихи. Для меня в них – связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события,

которым не было равных…»

Все интереснее и интереснее. Я с огромным нетерпением ожидала нашей следующей встречи и уже прикидывала в голове, какие вопросы нужно будет ей задать.

Глава 3

– Вы когда-нибудь задумывались о самоубийстве?

Ахматова испытующе посмотрела на меня.

– Вы решили действовать напрямик? Неожиданно.

Я развела руками.

– Мы обе знаем, что именно ради этого вас ко мне и направили. Зачем ходить вокруг да около?

– Будете копаться у меня в голове и разыскивать скрытые сексуальные комплексы, как Фрейд?

– Теории Фрейда не используются в советской медицине, – спокойно сказала я, заодно добрым словом поминая Фаину Георгиевну и ее рассказы об Ахматовой. – Конечно, я знаю о них, как и о других известных буржуазных теориях. Но неужели вы принимаете его всерьез?

– Разве что учение о влиянии детства на взрослую жизнь человека, – равнодушно сказала она. – А во всем остальном… во всех этих сексуальных рассуждениях и мифах так и видишь отражение той прокисшей, косной, провинциальной среды, в которой он жил… Я читала книгу пошляка Цвейга о Леонардо да Винчи. Там он цитирует Фрейда: у Леонардо был, конечно, комплекс Эдипа, и если он любил птиц, то это потому, что детей приносят аисты… Вы только подумайте, какая чушь: почему он воображает, будто и в те времена существовал обычай врать детям про аистов?

Я позволила себе смешок.

– Рада, что у вас такой разумный взгляд на психологические теории. Но все же вернемся к разговору о вас.

Она задумчиво кивнула и вытащила из сумочки папиросы.

– Вы не против, если я закурю?

– Нет, конечно. – Я взяла папку с ее личным делом и автоматическое перо. – Но, пожалуй, нам лучше пройти в больничный парк, чтобы пожарная охрана не придиралась.

Она внимательно взглянула на меня и понимающе склонила голову, безмолвно соглашаясь на эту предосторожность.

Не то чтобы я на самом деле боялась, что в моем кабинете установлена подслушивающая аппаратура, но Ахматова будет говорить гораздо искреннее, если будет уверена, что ее никто, кроме меня, не слышит.

– Мы в парк, – сообщила я, проходя мимо старшей медсестры. Правилами не запрещалось беседовать с пациентами на природе, лишь бы мы не покидали больничную территорию.

Варвара Ивановна с непроницаемым видом кивнула,

протянула мне журнал и своим обычным суровым тоном сказала:

– Хорошо. Распишитесь.

– За что на этот раз? – поинтересовалась я, беря перо.

– Что забрали расшифровку субботнего приема. – Она забрала журнал и вручила мне несколько страниц печатного текста. Я мельком глянула на них – как обычно, видны следы копирки. Все в больнице знают, что делаются два экземпляра расшифровки, один для врача, а другой… для кого другой, никто точно не знает. Все догадываются, но молчат и делают вид, будто ничего не замечают.

– Для кого делается вторая копия расшифровки? – это было первое, что сказала Ахматова, когда мы вышли на еще по-летнему теплое солнце.

– Вы очень наблюдательны. – Я подошла к открытой беседке, хорошо видной из окон больницы. – Садитесь, пожалуйста. Нам не сообщают, для кого копия, а мы не спрашиваем, – и многозначительным тоном добавила: – Но на всякий случай всегда об этом помним, когда делаем записи.

Она вновь достала папиросы и закурила. Я молчала, глядя, как она держит руку – большой палец под подбородком, три пальца с папиросой почти прямые, а мизинец слегка отставлен. Нервная, немного манерная поза, но у нее это смотрелось совершенно естественно и очень подходило к ее царственной осанке.

– Вам звонили насчет вчерашней встречи? – вдруг спросила она.

– Конечно, – я кивнула. – Нам строго запрещено встречаться с пациентами лично, если на то нет специального разрешения.

– И что вы ответили?

– Правду, конечно. Что я заходила к Фаине Георгиевне, а потом пришли вы, и я сразу ушла. Видимо, человек, который наблюдал за вами, сообщил, что я вышла через минуту после того, как вы вошли, поэтому мой ответ вроде бы был признан удовлетворительным.

– Давно вы знакомы с Фаиной?

– Несколько лет, – честно ответила я, понимая, что она проверяет мою откровенность. – Если не считать детского знакомства. Мой отец был у ее отца младшим приказчиком. Когда мне было около трех лет, она уехала покорять Москву, поэтому она меня помнила, а я ее нет.

– Она говорила, что вы обращались к ней за какой-то услугой.

– Не я, мой отец. Просил похлопотать по старой памяти, чтобы меня приняли на работу.

Ахматова не стала спрашивать дальше, а я не стала говорить.

Наверняка Фаина Георгиевна и так ей все рассказала. Что поделать, хоть родители и сумели записать меня русской при выдаче паспорта, фамилия все равно выдавала меня с головой. Это теперь я Никитина, и никто не интересуется, как меня звали в девичестве. До поры до времени.

– Вы так и не ответили на мой вопрос, – напомнила я, вновь открывая ее личное дело.

– Вы плохо его сформулировали.

– То есть?

– Думала ли я о самоубийстве? Как поэт – несомненно, и не раз. Как человек, наблюдавший добровольный уход из жизни близких людей, – тоже.

– Вы правы, – согласилась я, – формулировка была расплывчатой. – Думали ли вы о собственном самоубийстве?

– А какого ответа вы ждете?

– Честного.

– Для чего?

– Может быть, вы и не верите в это, но я на самом деле хочу вам помочь.

Она помолчала и вдруг нараспев сказала:

– «Да лучше б я повесилась вчера или под поезд бросилась сегодня…» – и пояснила в ответ на мой недоумевающий взгляд: – Я написала это в Париже, в 1911 году.

Я молчала, чувствуя, что сейчас не надо вмешиваться и задавать наводящие вопросы.

– Я вспоминала графа Комаровского – несчастного, трагического поэта. В то время он был еще жив… Он был сумасшедшим, но болезнь временами отступала, от нее он находил защиту в творчестве и в минуты просветления писал классически ясные стихи. В строгой, литой форме сонета он жаждал покинуть хаос, наступавший со всех сторон на его рассудок. – Она помолчала, и я видела, что взгляд ее потемнел. – Он покончил с собой осенью 1914 года в сумасшедшем доме.

– Вы предвидели, что это случится?

Она кивнула.

– И вам хотелось сделать то же самое? – осторожно поинтересовалась я.

– Нет! – твердо ответила она. – Комаровский был безумен, он покончил с собой в приступе сумасшествия, и с христианской точки зрения он не самоубийца. Его судьба не могла быть образцом для меня или для кого бы то ни было.

– А чья была образцом? – Кажется, я нащупала нужную ниточку.

Ахматова снисходительно улыбнулась.

– Мне довелось пройти через все соблазны Серебряного века. Не мог миновать меня и искус добровольного ухода из жизни. Этому греху поддавались многие поэты: Виктор Гофман, Надежда Львова, Всеволод Князев. Пытался покончить с собой и Николай Гумилев…

– Как же вам удалось преодолеть соблазн?

Она ответила медленно и печально:

– Тяжело, когда умирает поэт, но когда умирает молодой поэт, еще тяжелее. С мучительным вниманием вчитываешься в немногие оставшиеся после него строки, жадно ловишь в еще не окрепшем голосе и так по-молодому скупых образах тайну смерти, которая скрыта от нас, живых.

Она вновь замолчала, после чего продекламировала еще несколько строк:

Сколько гибелей шло к поэту,
Глупый мальчик: он выбрал эту, —
Первых он не стерпел обид.
Он не знал, на каком пороге
Он стоит и какой дороги
Перед ним откроется вид…

– А вы сумели стерпеть? – Кажется, я поняла ее мысль.

– Я сумела, – с полуулыбкой согласилась она. – И сумела преодолеть бесовские соблазны. Не поддалась слабости. Не струсила. Не следовала за модой. Я стала поэтом в грязную и блудную эпоху, но эта грязь не коснулась моей души. Поэты давно спорят о праве на жизнь и праве на смерть. Маяковский открыто осудил самоубийство Есенина в стихах «В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней», а в поэме «Про это» воспел самоубийство, подтолкнув тем самым неокрепшие юные умы последовать примеру Есенина.

– И был за это наказан?

– Возможно. Я не буду его судить. Его смерть тоже стала примером для подражания, но не таким сильным, как самоубийства Есенина и Цветаевой. Они утащили за собой в могилы множество подражателей. Бог им судья.

– Вы осуждаете Цветаеву?

Она отвела глаза.

Седой венец достался мне не даром,
И щеки, опаленные пожаром,
Уже людей пугают смуглотой.
Но близится конец моей гордыне,

Как той, другой – страдалице Марине, —
Придется мне напиться пустотой.

И вновь взглянула на меня.

– Нет, я ее не осуждаю. Мы с ней похожи… или полные противоположности. Не знаю. Из меня многие хотят сделать Марину, но я – не она.

– Как вы считаете, что заставило ее накинуть петлю на шею?

– Невозможность писать стихи, – тут же ответила она, словно уже не раз думала над этим. – Для поэта это смерть.

– Вы ведь были знакомы лично? – Я сразу пожалела, что это спросила. Она как-то вновь собралась, речь потеряла отрывистость и вновь полилась ровной рекой, как в нашу первую встречу.

– Мы переписывались, а потом встретились лично, когда она вернулась из эмиграции. Она передала Борису Леонидовичу, что хочет со мной повидаться, когда я буду в Москве. И вот я приехала из Ленинграда, узнала, что Марина здесь, дала для нее свой телефон, просила ее позвонить, когда она будет свободна. Но она все не звонила, и тогда я сама позвонила ей… И вот она приехала. Мы как-то очень хорошо встретились, не приглядываясь друг к другу, друг друга не разгадывая, а просто. Марина Ивановна много мне рассказывала про свой приезд в СССР, про дочь и мужа, про все то, что произошло. Читала мне свои стихи, которых я не знала. Вечером я была занята, должна была идти в театр на «Учителя танцев», и вечер наступил быстро, а расставаться нам не хотелось. Мы пошли вместе в театр, как-то там устроились с билетом и сидели рядом. После театра провожали друг друга. И договорились о встрече на другой день.

Она лгала, я видела это так же ясно, как если бы это было написано у нее на лбу. Но зачем? Почему? О чем таком они говорили с Цветаевой, что это нельзя было никому рассказать? И связано ли это как-то с вопросом самоубийства?

* * *

Дальше откровенная беседа у нас не пошла, и мы, не сговариваясь, решили вернуться в кабинет. Там я, понимая, что надо как-то продолжать разговор, предложила ей подробнее рассказать о детстве, и она охотно согласилась, вероятно обрадовавшись, что я не стала настаивать на продолжении темы самоубийства:

«…Мое детство так же уникально и великолепно, как детство всех детей в мире…

Говорить о детстве и легко и трудно. Благодаря его статичности его очень легко описывать, но в это описание слишком часто проникает слащавость, которая совершенно чужда такому важному и глубокому периоду жизни, как детство. Кроме того, одним хочется казаться слишком несчастными в детстве, другим – слишком счастливыми. И то и другое обычно вздор. Детям не с чем сравнивать, и они просто не знают, счастливы они или несчастны. Как только появляется сознание, человек попадает в совершенно готовый и неподвижный мир, и самое естественное не верить, что этот мир некогда был иным. Эта первоначальная картина навсегда остается в душе человека, и существуют люди, которые только в нее и верят, кое-как скрывая эту странность. Другие же, наоборот, совсем не верят в подлинность этой картины и тоже довольно нелепо повторяют: «Разве это был я?»

В молодости и в зрелых годах человек очень редко вспоминает свое детство. Он активный участник жизни, и ему не до того. И кажется, всегда так будет. Но где-то около пятидесяти лет все начало жизни возвращается к нему. Этим объясняются некоторые мои стихи 1940 года («Ива», «Пятнадцатилетние руки…»), которые, как известно, вызвали неудовольствие… сами знаете кого и упреки в том, что я тянусь к прошлому…»

В первый момент я подумала, что она говорит о Жданове, но она так выразительно на меня взглянула, что по спине даже мурашки побежали. Самому товарищу Сталину? Может, я все-таки слишком легкомысленно отношусь к данному мне поручению? А вдруг Андрей прав, и в четыре утра мне позвонили именно потому, что судьбой Ахматовой интересуется *сам*?..

«…Мое языческое детство прошло в окрестностях Херсонеса. Там я почувствовала, что такое античность, эллинизм. Там же я получила прозвище «дикая девочка», потому что ходила босиком, бродила без шляпы и т. д., бросалась с лодки в открытом море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа, и всем этим шокировала провинциальных севастопольских барышень.

Вы и представить себе не можете, каким чудовищем я была в те годы… Вы знаете, в каком виде барышни ездили в то время на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки, одна из них крахмальная, – и шелковое платье. Разоблачится в купальне, наденет такой же нелепый и плотный купальный костюм, резиновые туфельки, особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя – и назад. И тут появлялось чудовище – я, в платье на голом теле, босая. Я

прыгала в море и уплывала часа на два…

Однако в Царском Селе я делала все, что полагалось в то время благовоспитанной барышне. Умела, сложив по форме руки, сделать реверанс, учтиво и коротко ответить по-французски на вопрос старой дамы, говела на Страстной в гимназической церкви. Изредка отец брал меня с собой в оперу (в гимназическом платье) в Мариинский театр. Бывала в Эрмитаже, в Музее Александра III и на картинных выставках. Весной и осенью в Павловске на музыке – Вокзал… Музеи и картинные выставки… Зимой часто на катке в парке.

В Царскосельских парках тоже античность, но совсем иная – статуи… Я читала много и постоянно. Большое влияние на меня оказал тогдашний властитель дум Кнут Гамсун («Загадки и тайна»); Пан, Виктория – меньше. Другой властитель Ибсен… Училась в младших классах плохо, потом хорошо. Гимназией всегда тяготилась. В классе дружила только с Тамарой Костылевой, с которой не пришлось больше встретиться в жизни…»

Здесь я решила ее прервать, чтобы хотя бы прояснить некоторые моменты.

– Простите, Анна Андреевна, так получилось, что я не раз слышала, будто вы с Украины. Это связано только с тем, что вы родились в Одессе и отдыхали в Крыму, или вы все же жили там в какой-то из периодов, о которых еще не рассказывали?

Она усмехнулась.

– Царское было зимой, Крым, дача Тура – летом, но убедить в этом никого невозможно, потому что все считают меня украинкой. Во-первых, оттого, что фамилия моего отца Горенко, во-вторых, оттого, что я родилась в Одессе и кончила Фундуклеевскую гимназию, в-третьих, и главным образом потому, что Николай Степанович Гумилев в 1910 году написал: «Из города Киева, / из логова Змиева / Я взял не жену, а колдунью…» А в Киеве я жила меньше, чем в Ташкенте (1941–1944, во время эвакуации). Одну зиму, когда кончала Фундуклеевскую гимназию, и две зимы, когда была на Высших женских курсах. Но невнимание людей друг к другу не имеет предела. Если вы будете изучать мою жизнь, вам нужно привыкать, что все было не так, не тогда и не там, как всем чудится. Страшно выговорить, но люди видят только то, что хотят видеть, и слышат только то, что хотят слышать. Говорят в основном сами с собой и почти всегда отвечают себе самим, не слушая собеседника. На этом свойстве человеческой природы держится 90 % чудовищных слухов, ложных репутаций, свято сбереженных сплетен. Мы до сих пор храним змеиное шипение

Полетики о Пушкине!!! Несогласных со мной я только прошу вспомнить то, что им приходилось слышать о самих себе…

Она говорила все горячее и горячее. Ее глаза пылали, готовые испепелить всех, кто осмелится на возражения, а белая шаль лежала на плечах как горностаевая мантия.

– Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю вас, двадцать процентов мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием, уголовно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью перекочевывает в почтенные литературоведческие работы и биографии. Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать…

Я слушала ее, чувствуя серьезное смущение – ведь я тоже в своих записях обычно убирала все, что мне казалось лишним, и формировала сбивчивый, часто изобилующий повторами рассказ пациента как прямую речь. Впрочем, я ведь не собиралась делать из этого мемуары, а записывать в подробностях все, что говорят на моих приемах, нет смысла, да и неудобно для меня самой.

Но, видимо, все же это внезапно появившееся ощущение нечистой совести заставило меня перевести разговор на другое, о чем я, конечно, потом пожалела. Это было непрофессионально, как врач я была обязана подробнее поговорить о причинах ее столь сильной неприязни к слухам и сплетням. К сожалению, психиатры такие же люди, как и все, и делают такие же ошибки, поэтому вместо того, чтобы спросить ее о сплетниках, я сказала:

– А какие моменты освещает ваша память?

Она почти сразу же успокоилась и неторопливо мечтательно заговорила:

– Моя комната: окно на Безымянный переулок… который зимой был занесен глубоким снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, роскошной крапивой и великанами лопухами… Кровать, столик для приготовления уроков, этажерка для книг. Свеча в медном подсвечнике, электричества еще не было. В углу – икона. Никакой попытки скрасить суровость обстановки – безделушками, вышивками, открытками.

Ее лицо приняло какое-то странное выражение, словно она на самом деле унеслась далеко в прошлое, а здесь осталась только ее телесная оболочка.

– Запахи Павловского вокзала. Обречена помнить их всю жизнь, как слепоглухонемая. Первый – дым от допотопного паровозика, который меня привез, – Тярлево, парк, salon de musique, который называли «соленый мужик», второй – натертый

паркет, потом что-то пахнуло из парикмахерской, третий – земляника в вокзальном магазине (павловская!), четвертый – резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок, которые продаются в цветочном киоске, потом сигары и жирная пища из ресторана. А еще призрак Настасьи Филипповны. Царское – всегда будни, потому что дома, Павловск – всегда праздник, потому что надо куда-то ехать, потому что далеко от дома. И Розовый павильон (Pavilion de roses). Я как Птишоз с его женским монастырем, в который превратился его рай, его бумажная фабрика. Херсонес, куда я всю жизнь возвращаюсь, – запретная зона. Слепнева, Царского и Павловска – нет. Страннее всего, что я почти все это знала, когда росла там. – Она перевела на меня отрешенный взгляд и улыбнулась странной улыбкой: – В юности я говорила, что не могу понять, как люди жили во время войны и террора.

– Тогда никто не знал, какая наступает эпоха, – осторожно сказала я.

Ахматова небрежно махнула рукой.

– В сущности никто не знает, в какую эпоху он живет. Так и мы не знали в начале 10-х годов, что жили накануне первой европейской войны и Октябрьской революции. Увы! – Она вновь оживилась. – С конца XIX века меньше всего изменилась одежда и больше всего – способы передвижения. Человек, в особенности бедно одетый, может кое-как надеть костюм и пальто 90-х годов, но выехать в шарабане невозможно. Мне было десять лет, и мы жили одну зиму в доме Дауделя, это угол Средней и Леонтьевской в Царском Селе. Живущий где-то поблизости гусарский офицер выезжал на своем красном и дикого вида автомобиле, проезжал квартал или два – затем машина портилась, и извозчик вез ее с позором домой. Тогда никто не верил в возможность автомобильного и тем более воздушного сообщения.

Она окончательно вернулась из мира грез и заговорила более деловито:

– В Царском Селе я жила в общем с двух до шестнадцати лет. Из них одну зиму, когда родилась сестра Ия, семья провела в Киеве (Институтская улица) и другую – в Севастополе (Соборная, дом Семенова). Основным местом в Царском Селе был дом купчихи Елизаветы Ивановны Шухардиной – Широкая, второй дом от вокзала, угол Безымянного переулка. Но первый год века, 1900-й, семья жила зиму в доме Дауделя, это угол Средней и Леонтьевской. Там у меня была корь и даже, может быть, оспа…

– Вы так хорошо помните все места, где жили? – Я даже слегка растерялась от такого обилия подробностей, перо с трудом

поспевало за ее рассказом, потому что не так-то легко было стенографировать все эти названия.

– Я вспоминала их намеренно, – пояснила она. – В некоторых побывала вновь, узнала их историю.

– Расскажите, пожалуйста, – попросила я, решив, что раз она сама хочет что-то рассказать, не надо ей мешать.

Ахматова изящным жестом набросила на плечо сползшую шаль, и речь ее вновь полилась свободно, словно она рассказывала не воспоминания, а свое сочинение:

«…Дом Шухардиной… Этому дому было сто лет в 90-х годах XIX века, и он принадлежал купеческой вдове Евдокии Ивановне Шухардиной. Он стоял на углу Широкой улицы и Безымянного переулка. Старики говорили, что в этом доме «до чугунки», то есть до 1838 года, находился заезжий двор или трактир. Расположение комнат подтверждает это. Дом деревянный, темно-зеленый, с неполным вторым этажом, вроде мезонина. В полуподвале мелочная лавочка с резким звонком в двери и незабываемым запахом этого рода заведений. С другой стороны, на Безымянном, тоже в полуподвале, мастерская сапожника, на вывеске – сапог и надпись: «Сапожник Б. Неволин». Летом в низком открытом окне был виден сам сапожник Б. Неволин за работой. Он в зеленом переднике, с мертвенно-бледным, отекшим лицом запойного пьяницы. Из окна несется зловещая сапожная вонь. Все это могло бы быть превосходным кадром современной кинокартины. Перед домом по Широкой растут прямые складные дубы средних лет; вероятно, они и сейчас живы; изгороди из кустов кротегуса.

Мимо дома примерно каждые полчаса проносится к вокзалу и от вокзала целая процессия экипажей. Там всё: придворные кареты, рысаки богачей, полицмейстер барон Врангель – стоя в санях или пролетке и держащийся за пояс кучера, флигель-адъютантская тройка, просто тройка (почтовая), царскосельские извозчики на «браковках». Автомобилей еще не было.

По Безымянному переулку ездили только гвардейские солдаты (кирасиры и гусары) за мукой в свои провиантские магазины, которые находились тут же, поблизости, но уже за городом. Переулок этот бывал занесен зимой глубоким, чистым, не городским снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, из которых я в раннем детстве лепила корзиночки, роскошной крапивой и великолепными лопухами (об этом я сказала в 40-м году, вспоминая пушкинский «ветхий пук дерев» в стихотворении «Царское Село» 1820 года – «Я лопухи любила и крапиву…»).

По одной стороне этого переулка домов не было, а тянулся,

начиная от шухардинского дома, очень ветхий, некрашеный дощатый глухой забор. Вернувшийся осенью того (1905) года из Березок и уже не заставший семьи Горенко в Царском Николай Степанович Гумилев был очень огорчен, что этот дом перестраивают. Он после говорил мне, что от этого в первый раз в жизни почувствовал, что не всякая перемена к лучшему. Не туда ли он заехал в своем страшном «Заблудившемся трамвае»:

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…

Ни Безымянного переулка, ни Широкой улицы давным-давно нет на свете. На этом месте разведен привокзальный парк или сквер.

Весной 1905 года шухардинский дом был продан наследниками Шухардиной, и наша семья переехала в великолепную, как тогда говорили, барскую квартиру на Бульварной улице (дом Соколовского), но как всегда бывает, тут все и кончилось. Отец «не сошелся характером» с великим князем Александром Михайловичем и подал в отставку, которая, разумеется, была принята. Дети с бонной Моникой были отправлены в Евпаторию. Семья распалась. Через год – 15 июля 1906 года – умерла Инна. Все мы больше никогда не жили вместе.

Напротив (по Широкой) была в первом этаже придворная фотография Ган, а во втором жила семья художника Клевера. Клеверы были не царскоселы, жили очень уединенно и в сплетнях унылого и косного общества никакого участия не принимали. Для характеристики «Города Муз» следует заметить, что царскоселы, включая историографов Голлербаха и Рождественского, даже понятия не имели, что на Малой улице в доме Иванова умер великий русский поэт Тютчев. Не плохо было бы назвать эту улицу именем Тютчева.

Дом Анны Ивановны Гумилевой стоял тоже на Малой. Но мне не хочется его вспоминать, как шухардинский дом, и я никогда не вижу его во сне, хотя жила в нем с 1911 до 1916 года, и никогда не перестану благословлять судьбу за то, что не оказалась в нем во время революции.

Людям моего поколения не грозит печальное возвращение – нам возвращаться некуда… Иногда мне кажется, что можно взять машину и поехать в дни открытия Павловского вокзала, когда так пустынно и душисто в парках, на те места, где тень безутешная ищет меня, но потом я начинаю понимать, что это невозможно, что не надо врываться, да еще в бензинной жестянке, в хоромы памяти, что я ничего не увижу и только сотру этим то, что так

ясно вижу сейчас.

…А иногда по этой самой Широкой от вокзала или к вокзалу проходила похоронная процессия невероятной пышности: хор мальчиков пел ангельскими голосами, гроба не было видно из-под живой зелени и умирающих на морозе цветов. Несли зажженные фонари, священники кадили, маскированные лошади ступали медленно и торжественно. За гробом шли гвардейские офицеры, всегда чем-то напоминающие брата Вронского, то есть «с пьяными открытыми лицами», и господа в цилиндрах. В каретах, следующих за катафалком, сидели важные старухи с приживалками, как бы ожидающие своей очереди, и все было похоже на описание похорон графини в «Пиковой даме».

И мне, потом, когда я вспоминала эти зрелища, всегда казалось, что они были частью каких-то огромных похорон всего XIX века. Так хоронили в 90-х годах последних младших современников Пушкина. Это зрелище при ослепительном снеге и ярком царскосельском солнце было великолепно, оно же при тогдашнем желтом свете и густой тьме, которая сочилась отовсюду, бывало страшным и даже как бы инфернальным…»

* * *

Когда я после ухода Ахматовой собиралась домой, мне опять позвонили. Уже знакомый по двум предыдущим разговорам голос строго спросил:

– Товарищ Никитина, вы вынесли решение?

От неожиданности я даже не смогла сдержать возмущения:

– Конечно нет!

– Почему?

Я поспешила сбавить тон и спокойным голосом пояснила:

– Потому что нельзя выносить такое важное решение на основе всего двух разговоров. Требуется время, чтобы пациент начал доверять психиатру и рассказывать ему… свои тайные мысли, – я едва не сказала «что у него на душе», но вовремя сообразила, что это образное выражение может быть неправильно понято.

В ответ я услышала сухое:

– У вас есть три дня.

– Но этого мало. – Я старалась не нервничать и лихорадочно искала доводы. – Поймите, я не могу брать на себя такую ответственность…

– Через три дня пациентка должна вернуться в Ленинград, – безапелляционно отрезал товарищ на том конце провода. –

Уверен, вы сумеете оправдать оказанное вам доверие.

Я положила трубку и буквально рухнула в кресло, чувствуя, что на лбу выступил пот. Вновь вернулись прежние страхи. А что, если я ошиблась в своих выводах и Ахматову ждет судьба Цветаевой – та ведь тоже была у психиатра, и говорят, он вынес заключение, что она не склонна к суициду. Хотела бы я знать, что с ним стало после ее смерти… Хотя нет, не хотела бы.

Дома я первым делом вытащила черновики, которые дала мне Фаина Георгиевна, надеясь, что они прольют какой-нибудь свет на те уголки души Ахматовой, которые она сама тщательно скрывала. Увы, мои надежды были оправданы лишь отчасти. Довольно многое из того, что я прочитала, было мне уже известно из воскресного разговора. Но кое-что интересное и новое я все же из ее записок почерпнула.

«…В ней есть все. Есть и земное, но через божественное… Однажды я рассказала ей, как в Крыму, где я играла в то лето в Ялте – было это при белых, – в парике, в киоске сидела толстая пожилая поэтесса. Перед ней лежала стопка тонких книжек ее стихов. «Пьяные вишни» назывались стихи и посвящались «прекрасному юноше», который стоял тут же, в киоске. Герой, которому посвящались стихи, был косой, с редкими прядями белесых волос. Стихи не покупали. Я рассказала Ахматовой, смеясь, о даме со стихами. Она стала мне выговаривать: «Как вам не совестно?! Неужели вы ничего не предпринимали, чтобы книжки покупали ваши знакомые? Неужели вы только смеялись? Ведь вы добрая! Как вы могли не помочь?!» Она долго сердилась на меня за мое равнодушие к тому, что книги не покупали. И что дама с ее косым героем книги относила домой.

Однажды я застала ее плачущей, она рыдала. Я до этого никогда не видела ее в слезах и очень обеспокоилась. Внезапно она перестала плакать, помолчала: «Знаете, умерла первая жена моего бывшего мужа. Вам не кажется ли смешным то, что я ее так оплакиваю?»

В Ташкенте она получила открытку от сына из отдаленных мест. Это было при мне. У нее посинели губы, она стала задыхаться. Он писал, что любит ее, спрашивал о своей бабушке – жива ли она?

Бабушка – мать Гумилева.

…Она была удивительно доброй. Такой она была с людьми скромными, неустроенными. К ней прорывались все, жаждущие ее видеть, слышать. Ее просили читать, она охотно исполняла просьбы. Но если в ней появлялась отчужденность, она замолкала. Лицо сказочно прекрасное делалось внезапно суровым. Я боялась, что среди слушателей окажется

невежественный нахал.

Про известного писателя, которого, наверное, хотела видеть в числе друзей, сказала: «Знаете, о моей смерти он расскажет в придаточном предложении, извинится, что куда-то опоздал, потому что трамвай задавил Ахматову, он не мог продраться через толпу, пошел другой стороной».

…Однажды сказала: «Что за мерзость антисемитизм, это для негодяев – вкусная конфета, я не понимаю, что это, бейте меня, как собаку, все равно не пойму».

Она была женщиной больших страстей. Вечно увлекалась и была влюблена. Мы как-то гуляли с нею по Петрограду. Анна Андреевна шла мимо домов и, показывая на окна, говорила: «Вот там я была влюблена… А за тем окном я целовалась…»

Ахматова не любит двух женщин. Когда о них заходит разговор, она негодует. Это Наталья Николаевна Пушкина и Любовь Дмитриевна Блок. Про Пушкину она даже говорила, что та – агент Дантеса.

Когда мы начинаем с Анной Андреевной говорить о Пушкине, я от волнения начинаю заикаться. А она вся делается другая: воздушная, неземная. Я у нее все расспрашивала о Пушкине… Анна Андреевна говорила про пушкинский памятник: «Пушкин так не стоял».

…Мне думается, что так, как Анна Андреевна любит Пушкина, она не любила никого. Я об этом подумала, когда она, показав мне в каком-то старом журнале изображение Дантеса, сказала: «Нет, вы только посмотрите на это!» Журнал с Дантесом она держала, отстранив от себя, точно от журнала исходило зловоние. Таким гневным было ее лицо, такие злые глаза… Мне подумалось, что так она никого в жизни не могла ненавидеть.

Ненавидит она и Наталью Гончарову. Часто мне говорила это. И с такой интонацией, точно преступление было совершено только сейчас, сию минуту.

«Целый день думаю о стихах Леонида Первомайского, вспоминаю их. Как это верно про письма жены на фронт: невозможно бросить их и нельзя с собой таскать.

Стихи запомнила, говорила наизусть.

В Ташкенте о том, что А. А. весь день говорила о стихах Леонида Первомайского с такой любовью, знала их наизусть, я сказала Маргарите Алигер и просила ее об этом написать Первомайскому, он был бы рад. Спросила Алигер: «Вы писали, как я просила вас?» Ответила: «Ах, забыла». А вскоре он умер, так и не узнав о том, что Ахматова его так похвалила…»

Но интереснее всего была последняя запись, видимо, сделанная совершенно недавно:

«…Сегодня у меня обедала Ахматова, величавая, величественная, ироничная, трагическая, веселая и вдруг такая печальная, что при ней неловко улыбнуться и говорить о пустяках. Как удалось ей удержаться от безумия – для меня непостижимо.

Говорит, что не хочет жить, и я ей абсолютно верю. Торопится уехать в Ленинград. Я спросила: «Зачем?» Она ответила: «Чтобы нести свой крест». Я сказала: «Несите его здесь». Вышло грубо и неловко. Но она на меня не обижается никогда.

Странно, что у меня, такой сентиментальной, нет к ней чувства жалости или участия. Не шевелятся во мне к ней эти чувства, обычно мучающие меня по отношению ко всем людям с их маленькими несчастьями…»

Только тогда я поняла, что меня подспудно беспокоило все то время, что я читала доклад Жданова и слушала рассказы Ахматовой о ее жизни. У меня тоже нет к ней жалости. Она вызывает любопытство, удивление, восхищение, сочувствие, беспокойство, иногда даже опасение, но никак не жалость.

А может, она этого и хочет? Королев не жалеют, не так ли?

Глава 4

– Анна Андреевна, вы хотите жить?

Ахматова поднесла к губам папиросу и, только когда выпустила дым, коротко сказала:

– Да.

– А почему вы не сразу ответили?

Она стряхнула пепел на землю – мы вновь сидели в беседке около больницы.

– Думала, почему вы это спросили.

– Раз вас прислали ко мне, значит, кто-то думает, что вы хотите умереть.

– Как все нормальные люди, я хочу жить.

– А как же поэты, о которых вы рассказывали вчера? Вы ведь сами говорили, что среди них был лишь один сумасшедший.

Она, конечно, не знала тонкостей современной советской психиатрии, поэтому не могла догадаться, что мой вопрос противоречит самой сути той системы, в рамках которой мне приходится работать. Но, похоже, поэтическое чутье ей что-то подсказало, потому что она не попалась в расставленную ловушку. Многие на ее месте согласились бы, что поэты, о которых шла речь, не были нормальны, и тогда встал бы вопрос о нормальности поэтов как таковых. Другие могли бы начать возражать, противореча самому себе, и попытаться доказать, что иногда и вполне нормальные люди хотят свести счеты с жизнью. В обоих случаях она оказалась бы втянута в спор, в котором ее позиция была бы изначально слабой.

Ахматова же сказала:

– Они тоже хотели жить. Вы слишком молоды, Татьяна, вы не застали Серебряный век и не знаете, что это такое. В попытках самоубийства поэты искали не смерти, а новых ощущений. Не зря было так много неудачных попыток.

– Вы имеете в виду, что они специально не до конца кончали с собой? – У меня даже мурашки по спине побежали: вот это тема, вот это информация, если когда-нибудь суицидология станет разрешенной наукой, по ней диссертацию написать можно будет. – Это было что-то вроде инсценировок? Или они не сознательно так поступали?

– Не сознательно. – На ее губах мелькнула слабая улыбка. – Ни себе, ни другим они бы в этом точно не сознались. А возможно, некий древний инстинкт останавливал их в шаге от роковой черты.

Проклятые тиски физиологической теории, не позволяющей

рассматривать суицид иначе как проявление сумасшествия! Ведь то, о чем говорила Ахматова, нужно было изучать именно сейчас, когда еще живы многие из тех, кто неудачно пытался последовать примеру Цветаевой и Есенина. И не только живы, но и доступны, ведь все они как суицидники находятся под наблюдением психиатров, а значит, их легко разыскать, расспросить, проанализировать их личные дела…

Но все это мне недоступно, а когда, возможно, станет разрешено, лет так через тридцать, будет уже поздно. Оставалось надеяться только, что за рубежом вопрос неоконченных суицидов ради новых ощущений изучается и когда-нибудь их работы будут доступны и советским психиатрам.

Я вздохнула и, вспомнив черновики Фаины Георгиевны, вернулась к более насущным вопросам:

– Вчера вы говорили, что многие поэты играли со смертью, но вам удалось преодолеть этот соблазн. Я много думала о том стихотворении, которое вы написали в 1911 году. «Уж лучше б я повесилась вчера или под поезд бросилась сегодня…» Это ведь не просто слова. Вы думали о собственном самоубийстве?

Она молчала.

– Анна Андреевна, пожалуйста. Если вы не будете отвечать на мои вопросы, я не смогу вам помочь.

Ахматова надменно вскинула брови.

– Почему вы решили, что мне нужна ваша помощь?

– Потому что не может человек, которого опозорили на всю страну, выгнали из Союза писателей, лишили пенсии и карточек, быть таким спокойным. Вы либо держите боль и обиду в себе и сжигаете себя ими, либо что-то задумали. А мне через три дня надо вынести решение – не самоубийство ли.

Она немного помолчала, закурила новую папиросу и наконец сказала:

– Вы, как и все, считаете, что главное в жизни – материальные блага.

– А что главное?

– Возможность творить.

– Но вас же больше не будут печатать.

Она невесело усмехнулась.

– Вы и правда думаете, что со мной такое происходит впервые? Весной 1911 года мои стихи в «Аполлоне» вызвали немедленную реакцию Буренина в «Новом времени». Он предполагал, что уничтожил меня своими пародиями, даже не упоминая мое имя.

В ее голосе звучало горькое удовлетворение, которое я не раз слышала у тех, кто выжил после смертельного ранения.

– В 1919 году меня уничтожили Бунин в Одессе – эпиграммой «Поэтесса» и Брюсов в Москве. Затем после моих вечеров в Москве, весной 1924 года, состоялось постановление о прекращении моей литературной деятельности. Меня перестали печатать в журналах и альманахах, приглашать на литературные вечера. – Ее усмешка была похожа на гримасу боли. – Я встретила на Невском Мариэтту Шагинян. Она сказала: «Вот вы какая важная особа: о вас было постановление ЦК: не арестовывать, но и не печатать…» В 1925 году меня совершенно перестали печатать и планомерно и последовательно начали уничтожать в текущей прессе – Лелевич в «На посту», Перцов в «Жизни искусства», Степанов в «Ленинградской правде» и множество других. Можно представить себе, какую жизнь я вела в это время. Тогда я впервые присутствовала при своей гражданской смерти. Мне было тридцать пять лет.

Она замолчала. Молчала и я, но не потому, что мне было нечего сказать, а скорее из интуитивного понимания, что сейчас лучше ничего не спрашивать. Ахматова наконец-то приоткрыла передо мною краешек своей биографии. Не идиллической, с запахом дыма и античными статуями, не схематической с простым перечислением мест жительства и напечатанных сборников, а настоящей, страшной, сделавшей ее такой, какая она есть – статуей с королевской осанкой и непроницаемым взглядом. Вот они, эти тридцатые годы, которые она даже не упомянула, рассказывая мне в первый день о своей жизни.

Тридцать пять лет. Сейчас ей пятьдесят семь, и ей опять устроили «гражданскую смерть». Вторую? Или между 1924 годом и августом 1946-го была еще одна? А может, больше? Я могу только гадать, ведь большая часть ее жизни по-прежнему скрыта от меня. Я, как и многие, знала, что ее бывший муж, поэт Гумилев, был расстрелян, но вроде бы она снова была замужем и овдовела. От Фаины Георгиевны я знала, что ее сын сидел в лагере, но что с ним случилось дальше?

Вопросы, вопросы, а ответить на них может только один человек – сама Ахматова.

* * *

Когда мы вернулись в мой кабинет и нам вновь пришлось говорить о том, о чем можно говорить, не слишком опасаясь, что подслушают, я решила посвятить оставшуюся часть встречи разговору о поэзии. Даже прочитав два ее сборника, я все равно знала об ее творчестве слишком мало. К тому же оба они были

изданы до 1925 года, то есть до ее первой «гражданской смерти».

Кроме того, что разговаривать с поэтом, плохо понимая его творческую сторону, вообще бессмысленно, меня еще не переставал интересовать вопрос о временами возникающих в ее стихах способах суицида. Уж слишком они конкретные – повешение, бросание под поезд, шнурок в кармане. Но оба раза, когда я затрагивала эту тему, Ахматова переводила разговор на отвлеченные поэтические мотивы. Случайно? Намеренно и пытаясь что-то от меня скрыть? Или она вовсе не переводила разговор, а в этом и заключается ее ответ, но мне он пока не понятен?

– Вы сказали, что важнее всего возможность творить. Что для вас означает ее потеря?

Она ответила с легким недоумением:

– Я никогда ее не теряла.

– Но… – Я растерялась, не зная, стоит ли напоминать ей вслух о недавнем постановлении, да и о 1924 годе. Однако это и не понадобилось, она все поняла сама.

– Я никогда не улетала или не уползала из Поэзии, – теперь в ее голосе звучала снисходительная насмешка, – хотя неоднократно сильными ударами весел по одеревеневшим и уцепившимся за борт лодки рукам приглашалась опуститься на дно. Сознаюсь, что временами воздух вокруг меня терял влажность и звукопроницаемость, ведро, опускаясь в колодец, рождало вместо отрадного всплеска сухой удар о камень, и вообще наступало удушье, которое длилось годами. «Знакомить слова», «сталкивать слова» – ныне это стало обычным. То, что было дерзанием, через тридцать лет звучит как банальность. Есть другой путь – точность, и еще важнее, чтобы каждое слово в строке стояло на своем месте, как будто оно там уже тысячу лет стоит, но читатель слышит его вообще первый раз в жизни. Это очень трудный путь, но когда это удается, люди говорят: «Это про меня, это как будто мною написано». Сама я тоже, но очень редко, испытываю это чувство при чтении или слушании чужих стихов. Это что-то вроде зависти, но поблагороднее.

Я вспомнила ее слова о материальных благах и осторожно спросила:

– Получается, что запрет печататься для вас ничего не значит? Все зависит лишь от вашей собственной музы?

Она кивнула и со скрытым смешком добавила:

– Однажды меня спросили, трудно или легко писать стихи. Я ответила: их или кто-то диктует, и тогда совсем легко, а когда не диктует – просто невозможно.

– И вы всегда писали.

– Сколько себя помню. Первое стихотворение я написала, как уже говорила, когда мне было одиннадцать лет, оно было чудовищным, но уже раньше отец называл меня почему-то «декадентской поэтессой»… Кончать мне пришлось, потому что семья переехала на юг, уже не Царскосельскую гимназию, а Киевскую (Фундуклеевскую), в которой я училась всего один год. Потом я два года училась на Киевских Высших женских курсах… Все это время, с довольно большими перерывами, я продолжала писать стихи, с неизвестной целью ставя над ними номера. Как курьез могу сообщить, что, судя по сохранившейся рукописи, «Песня последней встречи» – мое двухсотое стихотворение…

Я напрягла память, вспоминая даты в книге.

– «Песня последней встречи» – это 1911 год?

– Да. – Она посмотрела на меня с заметным удовольствием. Было видно, что ей нравится мое знакомство с ее творчеством.

– Именно в этот год вы ведь и начали печататься? Расскажите, как это произошло.

Она задумалась лишь немного и потом заговорила так уверенно, что я поняла – она рассказывала это уже не первый и наверняка даже не сотый раз. И лишь по некоторым запинкам становилось заметно, что либо она о чем-то умалчивает, либо наоборот – говорит то, о чем обычно старалась не упоминать.

– 25 апреля 1910 года я вышла замуж за Николая Степановича Гумилева и вернулась после пятилетнего отсутствия в Царское Село. После Парижа оно показалось мне совсем мертвым. В этом нет ничего удивительного. Но куда за пять лет провалилась моя царскосельская жизнь? Не застала там я ни одной моей соученицы по гимназии и не переступила порог ни одного царскосельского дома. Началась новая петербургская жизнь. В сентябре Гумилев уехал в Африку. В зиму 1910/11 года я написала стихи, которые составили книгу «Вечер». 25 марта вернулся из Африки Гумилев, и я показала ему эти стихи…

Тут она замолчала ненадолго, а потом с легким раздражением сказала:

– В отношение Николая Степановича к моим стихам тоже надо, наконец, внести ясность, потому что я до сих пор встречаю неверные и нелепые сведения. Одни рассказывают, что Гумилев считал мои стихи просто «времяпрепровождением жены поэта», другие, что Гумилев, женившись на мне, стал учить меня писать стихи, но скоро ученица превзошла… и т. п. И даже что Маковские почему-то стали моими конфидентами и против воли Гумилева Сергей Константинович напечатал мои стихи в «Аполлоне» в 1911 году. Я никому не позволю оскорблять трагическую тень поэта нелепой и шутовской болтовней, и да

будет стыдно тем, кто рассказывает этот вздор! Стихи я писала с одиннадцати лет совершенно независимо от Николая Степановича. Пока они были плохи, он со свойственной ему неподкупностью и прямотой говорил мне это.

– Вас это не обижало?

Она надменно пожала плечами.

– Вначале я действительно писала очень беспомощные стихи, что Николай Степанович и не думал от меня скрывать. Он действительно советовал мне заняться каким-нибудь другим видом искусства, например танцами. Я была очень гибкой. Осенью 1910 года он, как я говорила, уехал в Аддис-Абебу. Я осталась одна в гумилевском доме на Бульварной, как всегда, много читала, часто ездила в Петербург, главным образом к Вале Срезневской, тогда еще Тюльпановой, побывала и у мамы в Киеве, и сходила с ума от «Кипарисового ларца». Стихи шли ровной волной, до этого ничего похожего не было. Я за это время написала то, что примерно стало моей книгой «Вечер». Я искала, находила, теряла. Чувствовала, довольно смутно, что начинает удаваться. А тут и хвалить начали. А вы знаете, как умели хвалить на Парнасе Серебряного века! На эти бешеные и бесстыдные похвалы я довольно кокетливо отвечала: «А вот моему мужу не нравится». Это запоминали, раздували, наконец это попало в чьи-то мемуары, а теперь из этого возникла гадкая, злая сплетня, преследующая «благородную цель» изобразить Гумилева не то низким завистником, не то человеком, ничего не понимающим в поэзии.

Я сочувствующе кивнула, чувствуя что-то вроде ликования. Этот короткий рассказ значил для меня чрезвычайно много, ведь им Ахматова ответила на вопрос, который мне даже не пришлось задавать – с чего началась ее ненависть к мемуарам. К тому же она сама заговорила о Гумилеве, о котором я не решалась спрашивать, зная его трагическую судьбу.

– Так это Николай Степанович помог вам напечатать первую книгу? Как это было? Что вы почувствовали, когда он вас наконец оценил?

Она чуть склонила голову набок.

– 25 марта 1911 года старого стиля, на Благовещение, Гумилев вернулся из своего путешествия в Африку. В нашей первой беседе он между прочим спросил меня: «А стихи ты писала?» Я, тайно ликуя, ответила: «Да». Он попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал: «Ты поэт – надо делать книгу». Но почему-то всем, в особенности за границей, хочется, чтобы меня «открыл» Вячеслав Иванов.

Иванов… это имя ведь и Жданов упоминал. Я даже мельком

спрашивала о нем Андрея, и он сказал мне, что это поэт-символист, квартиру которого, где собирались символисты, почему-то называли «Башней». После революции он эмигрировал. Видимо, там, за границей, он и рассказывал всем, что «открыл» миру Ахматову. А ей почему-то это очень не нравится – то ли потому, что это неправда, а она не может никак ответить, то ли по какой-то другой причине.

– А он не имел отношения к появлению вашей первой книги?

Она презрительно скривила губы.

– Гумилев после нашего возвращения из Парижа, еще летом 1910 года, повез меня к Вячеславу Иванову. Он действительно спросил меня, не пишу ли я стихи, и я прочла: «И когда друг друга проклинали…» и еще что-то, кажется, «Пришли и сказали…», и Вячеслав очень равнодушно и насмешливо произнес: «Какой густой романтизм!» Я тогда до конца не поняла его иронии. Осенью Николай Степанович, успев снискать вечную немилость Иванова рецензией на «Cor Ardens», уехал на полгода в Африку. Вячеслав встретил меня на Раевских курсах, где он читал лекции, и пригласил на свои «понедельники». Там я действительно несколько раз читала стихи, и он действительно их хвалил, но их тогда уже хвалили все – Толстой, Маковский, Чулков и т. д., они были приняты в «Аполлон» и напечатаны, а тот же Иванов лицемерно посылал меня к Зинаиде Гиппиус. Александра Николаевна Чеботаревская увела меня в соседнюю комнату и сказала: «Не ходите к ней. Она злая и вас очень обидит». Я ответила: «А я и не собираюсь к ней идти». Кроме того, Вячеслав Иванович очень уговаривал меня бросить Гумилева. Помню его слова: «Этим вы его сделаете человеком». О том, как он tete-e-tete плакал над стихами, потом выводил в «салон» и там ругал довольно едко, я даже рассказывать не буду, это и так всем известно. Вячеслав был не Великолепный и не Таврический, это он сам про себя придумал, а «ловец человеков». Недоброво, который был на «Башне» в неизменном фаворе, и Блок, которого Вячеслав в глаза называл соловьем, – оба знали о нем очень много и не верили ни единому его слову. Нынешняя молодежь, то есть уже настоящие потомки, читают «Cor Ardens», недоумевают и говорят: «Плохой Бальмонт». А нас, тогдашнюю молодежь, забавляло, как этого, совершенно здоровенного, сорокачетырехлетнего человека холили седые дамы, и Замятнина сбегала с «Башни», чтобы пледом укутать ноги Учителя (в апреле месяце), который ехал со мной на Мойку – в Академию. Он «играл» кого-то, кто никогда не существовал и, по-моему, не должен был существовать. Мне особенно была неприятна «игра» в «однолюба», как он любил себя именовать, потому что я жалела и

любила бедную Веру.

Это было довольно любопытно, и в другой ситуации я бы поподробнее расспросила ее об Иванове. Но приходилось помнить, что у нас осталось всего два разговора, не считая этого, так что я предпочла вернуться к вопросу о творчестве и попросила ее рассказать о своей первой книге. Она на удивление пренебрежительно сказала:

– Эти бедные стихи пустейшей девочки почему-то перепечатывались Бог знает сколько раз. Появились они и на некоторых иностранных языках. Сама я не предрекала им такой судьбы и прятала под диванные подушки номера журналов, где они впервые были напечатаны, «чтобы не расстраиваться». От огорчения, что «Вечер» появился, я даже уехала в Италию весной 1912 года, а сидя в трамвае, думала, глядя на соседей: «Какие они счастливые – у них не выходит книжка».

– Но почему?! – изумилась я.

Она с сожалением посмотрела на меня.

– Вам не понять. Не стоит обижаться, это не ваша вина. Я не смогу объяснить. Это либо понимается сердцем, либо не понимается никак и никогда.

На сей раз она сбила меня с толку, и я даже подозревала, что это было сделано специально. Она стала слишком раскрываться передо мной и сама это почувствовала – возможно, дело в этом. Я уже сталкивалась с таким поведением пациентов, когда им, с одной стороны, хотелось разговаривать со мной, их радовало, что я их понимаю, а с другой – им начинало казаться, что я вижу их насквозь (хотя это, конечно, было совсем не так). А творческим людям особенно неприятно, когда их видят насквозь, им необходимо оставаться загадкой. И сейчас Ахматовой это вполне удалось – я не сомневалась в правдивости рассказанного эпизода и в то же время слышала гордость в ее голосе, когда она с нарочитой небрежностью говорила, сколько раз переиздавался ее первый поэтический сборник.

– Хорошо, – я решила сменить тему, – тогда давайте поговорим о вашей жизни и творчестве до революции. Гумилев все же оказал влияние на ваше творчество, или вы оба оказались акмеистами, так сказать, каждый сам по себе?

Ахматова благосклонно восприняла смену темы разговора. Тем более что она явно получала удовольствие, вспоминая старых друзей и врагов и подпуская на их счет острые шпильки.

– 10-й год – год кризиса символизма, смерти Льва Толстого и Комиссаржевской. 1911-й – год Китайской революции, изменившей лицо Азии, и год блоковских записных книжек, полных предчувствий… «Кипарисовый ларец»… Кто-то недавно

сказал при мне: «10-е годы – самое бесцветное время». Так, вероятно, надо теперь говорить, но я все же ответила: «Кроме всего прочего, это время Стравинского и Блока, Анны Павловой и Скрябина, Ростовцева и Шаляпина, Мейерхольда и Дягилева». Конечно, в это, как и во всякое время было много безвкусных людей, например Игорь Северянин. Подозрительна также «слава» Брюсова (однако тогда она уже сильно померкла). По сравнению с аляповатым первым десятилетием 10-е годы – собранное и стройное время. Судьба остригла вторую половину и выпустила при этом много крови – я о войне 1914 года. Кто-то другой сказал мне: «Те, кого вы встречали в Париже в 1910–1911 годах, и были последние французы. Их всех убили под Верденом и на Марне». Потом я прочла это в Le Sursis Сартра. Хороши были и те, кто в 1917 году летом поехал играть в теннис на крымские курорты. Они до сих пор не вернулись. Сильно затянувшийся game! Как страшны эти оборванные биографии…

* * *

Домой я в этот вечер вернулась поздно и очень уставшая – после работы было еще партсобрание. К счастью, никто даже не упомянул о том, что я слишком много времени уделяю пациентке, которую недавно сам Жданов объявил буржуазным поэтом и литературным проходимцем. Как я и думала, звонили не только мне. Жаль, я не могу узнать, что сказали главврачу, может, тогда стало бы немного понятнее, чего именно от меня ждут.

Судя по любопытствующим взглядам, желающих порасспросить меня об Ахматовой было немало, но никто так и не решился. Да и я не горела желанием ни с кем о ней говорить, поэтому старалась держаться все время в толпе, а сразу после собрания как можно незаметнее ускользнула.

Андрей был уже давно дома и даже поужинал – вчера, зная о предстоящем собрании, я приготовила на два дня вперед, благо сейчас уже прохладно, можно оставить еду в кастрюле на балконе, не испортится. А вот летом…

Честно говоря, еще с 1939 года моей голубой мечтой был холодильник – Андрей ездил в Харьков делать репортаж об этом чуде бытовой техники, только запускаемом в производство, а когда вернулся, рассказал мне. А впервые увидела я холодильник в квартире главного редактора – его жена водила всех женщин на кухню и с гордостью демонстрировала небольшой шкафчик на сто двадцать литров, в котором летом было холодно почти как зимой. Андрей обещал, что еще годик, и нам тоже удастся такой купить,

но началась война, и домашнюю технику перестали выпускать. Да и мне стало, конечно, уже не до холодильников. Но сейчас – почему бы нет? Надо будет напомнить о его обещании.

Ну а пока я торопливо перекусила и села расшифровывать свои записи. Ахматова очень интересно рассказывала об акмеизме и поэтах Серебряного века, и хотя большая часть этого была не слишком нужна мне для установления диагноза, но все же кое-что интересное и важное из ее историй можно было почерпнуть. А главное, они очень четко обрисовывали некоторые черты ее характера, которые в общении со мной иначе бы даже не проявились.

«…“Цех поэтов” был задуман осенью 1911 года в противовес “Академии стиха”, где царствовал Вячеслав Иванов. Николай Степанович до этого мало знал Городецкого, который вообще был гораздо старше нас всех и уже отведал чулковского “мистического анархизма” и “соборности”, как-то очень скоро вышел из моды, перестал быть “солнечным мальчиком” Сережей Городецким и искал очередной спасательный круг (S.O.S.). Первое собрание “Цеха”, весьма пышное, с Блоком и французами было у Городецкого, второе – у Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой в Манежном переулке. В тот день я познакомилась с Лозинским.

Вскоре возникли беседы о необходимости отмежеваться от символизма, который, кстати сказать, уже год тому назад, в 1910 году, объявил себя в состоянии кризиса. В это время Николай Степанович писал стихи, вошедшие в сборник “Чужое небо”. Итак, своим первым акмеистическим сборником он считал “Чужое небо”. “Жемчуга” появились весной 1910 года, т. е. задолго до начала разговоров о новом направлении. В статье-некрологе 1921 года Георгий Иванов в отзыве на “Огненный Столп” утверждает, что только с “Чужого неба” начался настоящий Гумилев, но даже он не замечает единство пути от первой книги до “Огненного Столпа”.

В новом издании Блока есть очень интересная запись: “Мы были правы, когда боролись с псевдореалистами, но правы ли мы теперь, когда боремся с, может быть, своим Гумилевым”.

Время рассудит или, вернее, уже рассудило их, но как это было ужасно, когда эта литературная вражда кончилась одновременно гибелью обоих.

Об аресте Николая Степановича я узнала на похоронах Блока. “Запах тленья обморочно-сладкий” в моем стихотворении “Страх”, написанном ночью 25 августа 1921-го, относится к тем же похоронам.

О смерти Николая Степановича я узнала, прочла в газете на

вокзале, 1 сентября в Царском Селе, где я жила в полубольнице-полусанатории и была так слаба, что ни разу не пошла в парк. 15 сентября я написала “Заплаканная осень как вдова…” В это лето горели леса под Петербургом – улицы были полны пахучим желтым дымом. Осенью на Марсовом поле был огромный уже разоренный огород и тучи ворон. Я, приехав из Царского Села, пошла, тогда все ходили пешком, в Мраморный к Шилейко через Марсово поле – он плакал…»

Наконец-то она заговорила о Гумилеве. Из того, что я знала о нем, и из тех упоминаний, что уже звучали в ее словах, было понятно – несмотря на то, что их брак просуществовал не очень долго, психологически ее личность сложилась именно в то время. И именно под влиянием Гумилева, что она сама уже не раз подтверждала, пусть и завуалированно. К сожалению, это была еще одна табуированная тема, и затрагивать ее было слишком опасно. Но я решила все же попытаться хоть немного обсудить ее завтра, когда мы опять выйдем покурить в больничный парк. А пока старалась уловить все нюансы их взаимоотношений, которые можно было найти в рассказе об акмеистах и становлении Ахматовой как поэтессы.

Точнее, как поэта – я уже заметила, что сама она всегда называет себя, да и ту же Цветаеву именно поэтами. Кажется, в слове «поэтесса» она видела что-то уничижительное, поэтому и употребила его лишь один раз, когда говорила о том, как по-разному до сих пор оценивают ее союз с Гумилевым:

«По мнению одних – модная петербургская поэтесса, хозяйка великолепного салона на Фонтанке, вышла замуж в 1910 году за путешественника, поэта и искусного организатора литературных групп. По мнению других, уже знаменитый после «Жемчугов» Н. Гумилев женился в Киеве на дочери отставного инженера-механика флота Анне Горенко. Некоторые прибавляют: которую он встречал еще в Царском Селе».

Но как ни странно, эти воспоминания вдруг вызвали у нее прилив ностальгии, и она с удовольствием стала рассказывать о каких-то бытовых подробностях своей жизни в то время.

«…Я носила тогда зеленое малахитовое ожерелье и чепчик из тонких кружев. В моей комнате (на север) висела большая икона – Христос в темнице. Узкий диван был таким твердым, что я просыпалась ночью и долго сидела, чтобы отдохнуть… Над диваном висел небольшой портрет Николая I не как у снобов в Петербурге – почти как экзотика, а просто, серьезно – по-онегински («Царей портреты на стене»). Было ли в комнате зеркало – не знаю, забыла. В шкафу остатки старой библиотеки, даже «Северные цветы», и барон Брамбеус, и Руссо. Там я

встретила войну 1914 года, там провела последнее лето 1917-го…

…Пристяжная косила глазом и классически выгибала шею. Стихи шли легко свободной поступью. Я ждала письма, которое так и не пришло – никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну…

Бабы выходили в поле на работу в домотканых сарафанах, и тогда старухи и топорные девки казались стройнее античных статуй.

В 1911 году я приехала в Слепнево прямо из Парижа, и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: «К слепневским господам хранцужанка приехала», а земский начальник Иван Яковлевич Дерин – очкастый и бородатый увалень, когда оказался моим соседом за столом и умирал от смущенья, не нашел ничего лучшего, чем спросить меня: «Вам, наверно, здесь очень холодно после Египта?» Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и, как им тогда казалось, таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастье.

Николай Степанович не выносил Слепнева. Зевал, скучал, уезжал в невыясненном направлении. Писал «такая скучная не золотая старина» и наполнял альбом Кузьминых-Караваевых посредственными стихами. Но, однако, там что-то понял и чему-то научился.

Я не каталась верхом и не играла в теннис, а я только собирала грибы в обоих слепневских садах, а за плечами еще пылал Париж в каком-то последнем закате…

Один раз я была в Слепневе зимой. Это было великолепно. Все как-то вдвинулось в XIX век, чуть не в пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазные снега. Там я встретила 1917 год. После угрюмого военного Севастополя, где я задыхалась от астмы и мерзла в холодной наемной комнате, мне казалось, что я попала в какую-то обетованную страну. А в Петербурге был уже убитый Распутин и ждали революцию, которая была назначена на 20 января. В этот день я обедала у Натана Альтмана. Он подарил мне свой рисунок и надписал: «В день Русской Революции». Другой рисунок, сохранившийся, он надписал: «Солдатке Гумилевой, от чертежника Альтмана».

Слепнево для меня как арка в архитектуре… сначала маленькая, потом все больше и больше, и наконец – полная свобода – это если выходить…»

Она хотела еще рассказать о Царском Селе, но я направила ее воспоминания в более интересующее меня русло – как развивалось ее творчество и какие у них с Гумилевым были отношения с другими поэтами. У меня уже сложилось впечатление, что большая часть ее жизни прошла в творческой войне и отстаивании своего взгляда на поэзию. Если это действительно так, то нынешний разгром, учиненный товарищем Ждановым, вряд ли мог сильно выбить ее из колеи.

Прежде всего меня интересовала судьба ее стихов, а точнее, первых сборников – «Четки» и «Белая стая», которые мне дала почитать Фаина Георгиевна. Судя по датам, переиздавались они не раз, между тем как из слов Фаины Георгиевны можно было решить, что Ахматову то и дело преследовали и запрещали.

«…«Четки»… Книга вышла 15 марта 1914 года (старого стиля), и жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. С «Четками» этого не случилось…»

Я не стала ее прерывать, но для себя отметила, что это почти слово в слово совпадает с тем, что она уже рассказывала мне в первый день нашего знакомства. Значит, не зря мне показалось, что ее автобиография звучит слишком гладко – она ее фактически наизусть заучила, отшлифовала и в таком виде подает всем желающим. Очень удобно – чтобы не было никаких разночтений, всегда один и тот же вариант.

«…Корректуру держал Лозинский. Гумилев, когда мы обсуждали тираж, задумчиво сказал: «А может быть, ее придется продавать в каждой мелочной лавке». Тираж первого издания 1100 экземпляров. Разошлось меньше чем в год. Главная статья – Н.В. Недоброво. Две ругательные – С. Боброва и Тальникова. Остальные похвальные.

И потом еще много раз она выплывала и из моря крови, и из полярного оледенения, и побывав на плахе, и украшая собой списки запрещенных изданий…

«Четки», как я уже говорила, вышли 15 марта 1914 года, то есть вскоре после того, как окончилась кампания по уничтожению акмеизма. С необычайным воодушевлением и редкостным единодушием все и вся ринулись душить новое течение. От суворинского «Нового времени» до футуристов, салоны символистов (Сологубы, Мережковские), литературные общества

(так называемая Физа), бывшая «Башня», то есть окружение Иванова, и т. д. и т. д. без жалости когтили «Аполлоновские» манифесты. Борьба с занявшими командные высоты символистами была делом безнадежным. Они владели огромным опытом литературной политики и борьбы, мы и понятия обо всем этом не имели. Дошло до того, что пришлось объявить «Гиперборей» неакмеистическим журналом. Одни заглавия антиакмеистических статей могут дать представление об общем тоне полемики («Замерзающий Парнас», «У ног африканского идола», «Без божества, без вдохновенья» и т. п.).

…Все это я говорю в связи с моими воспоминаниями о «Четках» потому, что в нескольких десятках хвалебных рецензий об этом сборнике ни разу не встречается слово «акмеизм». Это было почти бранное слово. Первое настоящее об акмеизме: «Преодолевшие символизм» Жирмунского – декабрь 1916 года.

XX век начался осенью 1914 года вместе с войной, так же как XIX начался Венским конгрессом. Календарные даты значения не имеют. Несомненно, символизм – явление XIX века. Наш бунт против символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми XX века и не хотели оставаться в предыдущем…

Николай Степанович моложе Блока только на семь лет, но между ними – бездна. Однако и у него еще был период символизма. Мы же – Мандельштам, Нарбут, Зенкевич и я – символизма и не нюхали.

…Сборник «Белая стая» появился при еще более грозных обстоятельствах, чем «Четки». Он вышел в сентябре 1917 года. Если «Четки» опоздали, «Белая стая» прилетела просто к шапочному разбору. Транспорт замирал – книгу было нельзя послать даже в Москву, она вся разошлась в Петрограде. Бумага грубая – почти картон.

Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому в отличие от «Четок» у «Белой стаи» не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днем. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются, и принято считать, что «Белая стая» имела меньше успеха, чем «Четки».

Через год Михайлов («Прометей») купил у меня право на второе издание. Это было в 1918 году в уже совсем голодном и полупустом Петербурге. В 1918 году вышла сокращенная контрафакция в Тифлисе, затем Блох и Алянский напечатали «Белую стаю» (дополнительно в Берлине) в издательстве «Petropolis» и один Алянский в «Алконосте» в 1922 году. Никакого неуспеха «Белой стаи» я никогда не наблюдала…»

Здесь она прервалась и хотела даже отправиться домой,

потому что мой рабочий день подходил к концу, но я попросила ее побольше рассказать об акмеизме и слушала ее практически до самого начала партсобрания, на которое едва не опоздала.

«…Я выходила замуж не за главу акмеизма, а за молодого поэта-символиста, автора книги «Жемчуга» и рецензий на стихотворные сборники – «Письма о русской поэзии».

Акмеизм возник в конце 1911 года. В десятом году Гумилев был еще правоверным символистом. Разрыв с «Башней» начался, по-видимому, с печатного отзыва Гумилева о «Cor Ardens» на страницах «Аполлона». Вячеслав Иванов ему чего-то в этой рецензии никогда не простил. Когда Николай Степанович читал в Академии стиха своего «Блудного сына», Вячеслав обрушился на него с почти непристойной бранью. Я помню, как мы возвращались в Царское, совершенно раздавленные происшедшим, и потом Николай Степанович всегда смотрел на Вячеслава Иванова как на открытого врага.

С Брюсовым было сложнее. Николай Степанович надеялся, что тот поддержит акмеизм, как видно из его письма к Брюсову. Но как мог человек, который считал себя столпом русского символизма и одним из его создателей, отречься от него во имя чего бы то ни было? Последовал брюсовский разгром акмеизма в «Русской мысли», где Гумилев и Городецкий даже названы господами, то есть людьми, не имеющими никакого отношения к литературе…

…Понять зарождение акмеизма без знания фактов и соображений, которые будут изложены здесь, просто невозможно. Когда я в последний раз говорила на эту тему с М.А. Зенкевичем, он обратил мое внимание на то, что у акмеистов никогда не было меценатов, чего нельзя сказать о символистах. Это тоже верно, хотя отнюдь не самое главное. Даже номера «Гиперборея» выкупали мы сами, а журнал почти единолично вел Лозинский…

Чтобы говорить об акмеизме, следует твердо усвоить, когда он появился на свет, а не цитировать Гумилева 1910 года, как делают многие («Мы не можем не быть символистами»). Гумилев надеялся, что его поддержит Брюсов в пику Вячеславу Иванову, который сразу был откровенно враждебен, но что бы осталось у Брюсова, если бы он отрекся от символизма?..

Но все это сведения хотя и необходимые, но второстепенные. Всего нужнее понять характер Гумилева и самое главное в этом характере: мальчиком он поверил в символизм, как люди верят в Бога. Это была святыня неприкосновенная, но по мере приближения к символистам, в частности к «Башне», вера его дрогнула, ему стало казаться, что в нем поругано что-то.

Андрей Белый где-то сообщал, что он дал Гумилеву

программу акмеизма, небрежно набросав ее на бумажке, и Гумилев взял, сказав, что это ему подходит. Более отчаянной и бессмысленной выдумки я никогда не слыхала. Когда Гумилев пригласил Белого с женой к нам в Царское Село, тот почти невежливо уклонился… Да и почему бы Белый, один из столпов символизма и автор основной работы по символизму, стал бы свергать самого себя.

В 1914-м произошел внутренний раскол Цеха. Гумилев и Городецкий поссорились. Уцелели письма, которыми они обменялись, то есть я имею в виду письма Городецкого к Гумилеву, недавно кто-то приобрел их у вдовы Рудакова, которой я дала их на сохранение, а она, как известно, торгует всем ей доверенным. Но сейчас не в этом дело. В 1915 году произошла попытка примирения, и мы были у Городецких на какой-то новой квартире около мечети и даже ночевали у них, но, очевидно, трещинка была слишком глубокой, и возвращение к прежнему было невозможно.

Потом возникали цехи, куда-то меня приглашали, куда-то нет, но все они никакого значения для истории акмеизма не имели.

Статья Мандельштама «Утро акмеизма» написана, вероятно, в 1913 году, а не тогда, когда напечатана в «Сирене» (1919). Самый термин «акмеизм» до следующих поколений донесли не мы и не друзья, их не было, а враги.

Помню, еще в редакции «Северных записок» Осип и я пристали к синдикам, что пора кончать Цех (Первый). В моей записной книжке написали как бы прошение, и я тут же подделала все подписи. С. Городецкий наложил резолюцию:

«Всех повесить, а Ахматову заточить пожизненно – Малая, 63». Все это шутка, но…

Там же, помнится, мне было неприятно, что Городецкий поносит последними словами стихи Блока «Свирель запела…».

На этом же собрании от нас публично отрекся Н. Клюев, а когда пораженный Николай Степанович спросил его, что это значит, он ответил: «Рыба ищет где глубже, человек где лучше…»

Действительно, быть акмеистом в это время было не слишком уютно.

Было, как полагается, и генеральное сражение в Академии стиха. Я вернулась из Киева от мамы, и у меня вскочила температура.

В зиму Sturm und Drang акмеизма мы несколько раз выступали как группа. Гумилев и Городецкий читали доклады, помню, как старик Радецкий с гигантской бородой потрясал кулаками и кричал: «Эти Адамы и эта тощая Ева» (то есть я).

В расчеты этой группы входило изъять меня из обращения, потому что у них была готовая кандидатка на эту ваканцию. Потому и в своих бульварных мемуарах Георгий Иванов («Петербургские зимы») так описывает эти вечера:

В маленький зал «Дома литераторов» не попало и десятой части желавших услышать Ахматову. Потом вечер был повторен в Университете. Но и огромное университетское помещение оказалось недостаточным. Триумф, казалось бы?

Нет. Большинство слушателей было разочаровано.

Ахматова исписалась.

Ну, конечно.

Пять лет ее не слушали и не читали. Ждали того, за что Ахматову любили – новых перчаток с левой руки на правую. А услышали совсем другое:

Все потеряно, предано, продано,
Отчего же нам стало светло?
И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам,
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.

Слушатели недоумевали – «большевизм какой-то». По старой памяти хлопали, но про себя решили: конечно – исписалась.

Критика с удовольствием подхватила этот «глас народа». Теперь каждый следящий за литературой гимназист знает – от Ахматовой ждать нечего.

Верно – нечего. Широкая публика, делавшая когда-то славу Ахматовой, славу в необычном для настоящего поэта порядке, шумную, молниеносную, – Ахматовой обманута. Все курсистки России, выдавшие ей «мандат» быть властительницей их душ, – обмануты.

Чувство, с которым я прочитала цитату из «Петербургских зим», относящуюся к моим выступлениям, можно сравнить только с последней главой «Процесса» Кафки, когда героя просто ведут на убой у всех на глазах, и все находят это в порядке вещей.

Однако справедливость требует отметить, что в этом, как, впрочем, и во всех писаниях Иванова нет ни слова правды.

В начале 20-х годов вышли мои книги – впервые большие тиражи – 5000 – и немедленно были распроданы – 15 тысяч: «Подорожник» и «Anno Domini».

Мое якобы «падение» было окончательным и бесповоротным. Я якобы сама осознала его в 1932 году и перестала писать стихи до самого 1940 года, когда почему-то вышло «полное» собрание

моих сочинений. Иностранцам почему-то хочется замуровать меня в 10-е годы, и ничто, даже тиражи моих книг, не могут их разубедить.

Что же касается начала 20-х годов, так называемый НЭП, то после того, что Корней Чуковский противопоставил меня Маяковскому, Виноградов написал известную статью «Стилистика Ахматовой», Эйхенбаум – целую книгу, моими стихами занимались формалисты, о них читали доклады и т. д. Все это действительно, как, впрочем, все в моей жизни, кончилось довольно печально. В 1925 году ЦК вынес постановление, не опубликованное в печати, об изъятии меня из обращения. Уже готовый двухтомник был запрещен, и меня перестали печатать…

Причин у этого несколько. Мой третий сборник – «Anno Domini» – вышел в 1923 году в Берлине и не был допущен на родину. Тираж, по тем временам значительный, остался за границей.

То, что там были стихи, не напечатанные в СССР, стало одной третью моей вины, вызвавшей первое постановление обо мне в 1925 году. Вторая треть – статья Корнея Чуковского «Две России (Ахматова и Маяковский)». Третья треть – то, что я прочла на вечере «Русского современника» в зале Консерватории «Новогоднюю балладу».

Я бы не стала вспоминать об этих делах «давно минувших дней», если бы этой страничке из мемуаров Иванова так по-особенному не повезло в зарубежной прессе. Она стала для всего мира канвой для моей послереволюционной биографии.

Почему на эту удочку клюнули иностранцы, совершенно понятно. Слишком соблазнительно объявить, что Революция убила молодое дарование, тем более что после 1924 года мои стихи перестали появляться в печати. Но иностранцы – дело десятое, а как мог русский писатель, который знал настоящее положение вещей, так быстро дойти до такого разложения, для меня непостижимо…»

Глава 5

Вчерашний долгий разговор, который я потом расшифровывала и перечитывала до поздней ночи, не переставал беспокоить меня. Даже во сне мне снились какие-то башни, голоса, читающие стихи, и почему-то горящие книги. Невероятно, но, кажется, Ахматова начинала оказывать на меня слишком сильное влияние.

Нельзя сказать, чтобы я сделалась большой поклонницей ее стихов и уж тем более что я испытывала перед ней тот восторг и трепет, которые видела у Фаины Георгиевны (и которые, по утверждению последней, испытывали и многие другие близкие знакомые Ахматовой). Но одно неоспоримо – всего через несколько дней знакомства я уже готова была рисковать своей карьерой, чтобы узнать о ней побольше, проникнуть в ее мысли и понять, в чем же состоит ее особенность.

Россия, и советская, и царская, всегда была богата на талантливых поэтов, но я почему-то уже верила, что поэтов, возможно, и много, а Ахматова все равно – одна-единственная. Но в то же время разумом я понимала, что пока у меня нет оснований для подобной уверенности. Откуда же она взялась? Как Ахматова всего за несколько разговоров сумела вложить эту мысль мне в голову? Мне – психиатру! Человеку, профессией которого является проникновение в чужой мозг!

К сожалению, времени у меня оставалось очень мало, а ведь мне надо было еще выполнить возложенное на меня поручение. Я с сожалением выбросила из головы соблазнительную мысль объявить Ахматову склонной к суициду и положить ее к нам в стационар для дальнейшего изучения. Естественно, я думала об этом не всерьез – даже если не считать того, что это было бы неэтично, никто бы и не гарантировал мне, что в случае такого диагноза ее положат именно в нашу больницу и именно под мой присмотр. Но помечтать же никто не запрещает – когда у меня еще будет такой необычный пациент?

Она явилась на прием точно в срок, и после некоторых не слишком важных расспросов и уточнений того, о чем она говорила вчера, мы снова спустились во двор и расположились в беседке. Я не опасалась, что в больнице косо на это посмотрят – постоянство в ежедневном создании пациенту одной и той же атмосферы и одинакового распорядка сеансов было часто используемой вспомогательной техникой при проведении лечения. И конечно, я не забыла вписать в личное дело Ахматовой, что использую этот метод при проведении опроса.

В беседке я дождалась, когда она закурила, а потом сказала:

– Расскажите мне о Гумилеве.

Ответом мне был сразу похолодевший взгляд.

– Мне нечего рассказывать.

Я укоризненно покачала головой.

– Анна Андреевна!

Она раздраженно стряхнула пепел.

– Почему всем так непременно нужно знать… – Она прервала саму себя. – Я не хочу рассказывать сплетни и не могу говорить правду во весь голос. И вы знаете причину.

Я, конечно, знала – о расстрелянных за участие в заговоре, пусть и четверть века назад, не принято было говорить вслух. Но вполголоса все равно болтали, и много. Так много, что некоторые слухи знала даже я.

– Анна Андреевна, – мягко сказала я, – видите ли, хотя ваш брак продлился и недолго, но это очень важная часть вашей жизни. Вы говорили, что Гумилев несколько раз пытался покончить с собой, вчера вы признали, что он оказал влияние на ваше творчество, наконец, мне известно, что он отец вашего единственного ребенка. Пусть его давно уже нет в живых, но его воздействие на вашу жизнь было слишком велико, чтобы не осталось никаких следов.

– Мне нечего рассказывать, – упрямо повторила она. – Николай Степанович никогда – это его особенность – не давал другим узнать своей сущности, своих мыслей, своих мнений, своих знаний, своей биографии.

– Даже вам, своей жене?

– Да.

Я подождала – она продолжала хмуриться и молчать. Пришлось задавать провокационные вопросы, которые могли бы ее разговорить:

– По слухам, извините, мне придется использовать их, ведь правда мне неизвестна… Так вот, по слухам, вы с ним были знакомы очень долго, у вас был длительный роман, но то ли вы не соглашались выйти за него замуж, то ли он не торопился жениться.

Это ее задело – на щеках даже появился румянец.

– Не торопился жениться?! Да бесконечное жениховство Николая Степановича и мои столь же бесконечные отказы утомили даже мою кроткую маму, и она сказала мне с упреком: «Невеста неневестная», что показалось мне кощунством. Почти каждая наша встреча кончалась моим отказом выйти за него замуж!

– А почему вы отказывали?

Она вновь промолчала. Пришлось применить запрещенный прием.

– Из-за его многочисленных романов? Говорят, пока он за вами ухаживал, у него постоянно были и другие женщины, и он даже посвящал им стихи.

Она презрительно поджала губы.

– Цикл стихов Маше – просто стихи из ее альбома, там же какая-то лесбийская дама. Потом уже в 1914 году были Таня Адамович, Левберг, Тумповская, Лариса Рейснер, Энгельгардт. На ком-то он собирался жениться (Рейснер), на ком-то женился (Энгельгардт), по кому-то сходил с ума, с кем-то ходил в меблированные комнаты, с кем-то без особой надобности заводил милые романы как с Дмитриевой и Лизой Кузьминой-Караваевой, а от бедной милой Ольги Николаевны Высотской даже родил сына Ореста в 1913 году. Все это не имело ко мне решительно никакого отношения. – Она вдруг усмехнулась. – И подумать только, что когда мы все умрем, и я, и эти дамы, историки во всех нас найдут что-то общее, и мы все будем называться: «женщины времени…» В нас непременно найдут общий стиль.

Мысль, несомненно, была интересная и стоящая внимания, но сейчас меня больше волновали личные дела, потому что именно они могли дать больше информации о том, что на самом деле в душе у Ахматовой.

– Хорошо, эти дамы ничего не значили. А дуэль из-за Черубины де Габриак?

Об этой истории я знала от Андрея – он любил рассказывать о разных газетных мистификациях. В 1909 году в редакцию журнала «Аполлон» стали приходить изящные конверты с гербом испанской аристократки. На бумаге с траурным обрезом изысканным почерком были написаны стихи юной и прекрасной девушки Черубины, которой ее строгой католической семьей была уготована чуть ли не монастырская келья. Редакция журнала и его главный редактор Сергей Маковский были восхищены и заинтригованы. Из очередного номера журнала были убраны уже подготовленные к публикации стихи Иннокентия Анненского и вместо них срочно помещены стихи этой самой Черубины де Габриак. А потом оказалось, что под этим именем скрывалась поэтесса Елизавета Дмитриева, а ее редактором и соавтором мистификации был ее любовник Максимилиан Волошин. Гумилев был в ярости из-за этой замены, тем более что, по слухам, эта обида усугубила давнюю сердечную болезнь Анненского и привела к его смерти.

Все осложнялось тем, что между Гумилевым и Дмитриевой был роман. И между нею и Волошиным тоже. В скандальные

подробности я не вникала, да и Андрей их вряд ли знал, но в какой-то момент Гумилев плохо отозвался о Дмитриевой – возможно, из-за ее мистификации, а может быть, просто из ревности. В итоге они с Волошиным стрелялись на дуэли, но, к счастью, оба не пострадали. И сейчас мне было очень интересно услышать версию Ахматовой, тем более ее самолюбие не могло не задеть то, что ее жених стрелялся из-за другой женщины.

Я не ошиблась – этот вопрос вызвал у нее небольшой приступ откровенности.

– Лизавета Ивановна все же чего-то не рассчитала, – презрительно заявила она. – Ей казалось, что дуэль двух поэтов из-за нее сделает ее модной петербургской дамой и обеспечит почетное место в литературных кругах столицы, но и ей почему-то пришлось почти навсегда уехать. Она вновь возникла только в 1922 году из Ростова с группой молодежи. Она написала мне надрывное письмо и пламенные стихи Николаю Степановичу. Из нашей встречи ничего не вышло. Всего этого никто не знает. В Коктебеле болтали и болтают чушь. Но очевидно, в то время, в 1909–1910 годах, открылась какая-то тайная вакансия на женское место в русской поэзии. И Черубина устремилась туда. Дуэль или что-то в ее стихах помешали ей занять это место. Судьба захотела, чтобы оно стало моим. Замечательно, что это как-то полупонимала Марина Цветаева. А сейчас несут какой-то вздор, что весь «Аполлон» был влюблен в Черубину. Кто? – Кузмин, Зноско-Боровский? – и откуда этот образ скромной учительницы? Дмитриева побывала уже в Париже, блистала в Коктебеле, дружила с Марго, занималась провансальской поэзией, а потом стала теософской богородицей. А вот стихи Анненского, чтобы напечатать ее, Маковский действительно выбросил из первого номера, что и ускорило смерть Иннокентия Феодоровича…

– Так вы к ней не ревновали? – поспешила спросить я, видя, что она сейчас вновь начнет рассуждать о поэзии и поэтах.

– Делать из меня ревнивую жену очень смешно и очень глупо, – отрезала она. – Старушкам в эмиграции очень хочется, чтобы к ним сама Ахматова ревновала своего мужа, что они были как минимум m-mes Виже Лебрен, Адерины Патти, Лины Кавальери, m-me de Сталь и m-me Рекамье. Это, несомненно, их священное право, но лучше пусть они теснятся вокруг книг Николая Степановича и выбирают, кому вершки, кому корешки, и оставят меня в покое. Ни Гумилев, ни я не разглашали подробности наших отношений, эти дамы застали нас в совершенно иной завершительной стадии, они и не подозревали и до сих пор не подозревают о трагических годах 1905–1909, о том, сколько раз я разрушала наши отношения и отрекалась от

него, сколько раз он, по секрету от родных, заняв деньги у ростовщика, приезжал, чтобы видеть меня… В Киев в 1907 году, на дачу Шмидта летом 1907 года возле Херсонеса, в Севастополь, в Люстдорф в 1909-м под Одессой, опять в Киев. Как в Париже через весь город ездил взглянуть на дощечку – Boulevard Sebastopol, потому что я жила в Севастополе, как он не мог слушать музыку, потому что она напоминала ему обо мне, как он ревновал…

Она осеклась и нервно закурила новую папиросу, глядя куда-то вдаль. Я задела больное место – как ни странно, до сих пор больное, хотя они с Гумилевым развелись давным-давно, оба успели вступить в другие браки, да и вообще он уже двадцать пять лет как лежит в могиле.

К моему удивлению, после недолгого молчания Ахматова вновь заговорила:

– Когда в 1916 году я как-то выразила сожаление по поводу нашего в общем несостоявшегося брака, он сказал: «Нет – я не жалею. Ты научила меня верить в Бога и любить Россию». Я молчу, я не касаюсь тех особенных, исключительных отношений, той непонятной связи, ничего общего не имеющей ни с влюбленностью, ни с брачными отношениями, где я в его стихах называюсь «тот другой», который «положит посох, улыбнется и просто скажет: «Мы пришли». Для обсуждения этого рода отношений еще не настало время. Но чувство именно этого порядка заставило меня в течение нескольких лет заниматься собиранием и обработкой материалов по наследию Гумилева. Этого не делали ни его друзья, ни вдова, ни сын, когда вырос, ни так называемые ученики. Три раза в одни сутки я видела Николая Степановича во сне, и он просил меня об этом…

Я постаралась говорить самым мягким тоном, чтобы не сбивать ее с этого чувства сожаления, не дать вновь закрыться:

– Расскажите какой-нибудь бытовой эпизод из вашей совместной жизни. Первое, что вспомнится.

Она задумалась ненадолго, накинула на плечо шаль, на сей раз голубую, и как-то по-особенному печально вздохнула.

– Тринадцатая осень века, то есть, как оказалось потом, последняя мирная, памятна мне по многим причинам, о которых здесь не следует говорить, но кроме всего я готовила к печати мой второй сборник – «Четки» и, как всегда, жила в Царском Селе. В это время я позировала Анне Михайловне Зельмановой-Чудовской, часто ездила в Петербург и оставалась ночевать «на тучке». Гумилев приехал домой только утром. Он всю ночь играл в карты и, что с ним никогда не случалось, был в выигрыше. Привез всем подарки: Леве – игрушку, Анне Ивановне –

фарфоровую безделушку, мне – желтую восточную шаль. У меня каждый день был озноб, и я была рада шали. Это ее Блок обозвал испанской, Альтман на портрете сделал шаль шелковой, а женская «молодежь тогдашних дней» сочла для себя обязательной модой. Подробно изображена эта шаль на плохом портрете Ольги Людвиговны Кардовской.

Она снова замолчала и наконец добавила:

– В молодости я была очень общительна, любила гостей, любила и сама бывать в гостях. Гумилев объяснял мою общительность так: Аня, оставаясь одна, без перерыва пишет стихи. Люди ей нужны, чтобы отдохнуть от стихов, а то она писала бы, никогда не отрываясь и не отдыхая… Второй брак его тоже не был удачен. Он вообразил, будто Анна Николаевна воск, а она оказалась – танк… Нежное личико, розовая ленточка, а сама – танк. Николай Степанович прожил с нею какие-нибудь три месяца и отправил к своим родным. Ей это не понравилось, она потребовала, чтобы он вернул ее. Он ее вернул – сам сразу уехал в Крым. Она была очень недобрая, сварливая женщина, а он-то рассчитывал наконец на послушание и покорность. У меня в молодости был трудный характер, я очень отстаивала свою внутреннюю независимость и была очень избалована. Но даже свекровь моя ставила меня потом в пример Анне Николаевне. Это был поспешный брак. Коля был очень уязвлен, когда я его оставила, и женился как-то наспех, нарочно, назло. Он думал, что женится на простенькой девочке, что она воск, что из нее можно будет человека вылепить. А она железобетонная. Из нее не только нельзя лепить – на ней зарубки, царапины нельзя провести.

А потом почти без перерыва, словно одна мысль цеплялась у нее за другую, вздохнула:

– А Лариса Рейснер писала… когда она сказала, что боится огорчить меня, выйдя за него замуж, Николай Степанович сказал: «К сожалению, я ничем не могу огорчить мою жену». Как я теперь думаю, весь мой протест в этом деле было инстинктивное желание сохранить себя, свой путь в искусстве, свою индивидуальность…

Ахматова снова замолчала. Я тоже не произносила ни слова, надеясь, что она добавит еще какую-нибудь деталь – вряд ли удастся еще раз вызвать ее на такую откровенность, тем более у нас остается только один завтрашний разговор. Но она вдруг решительно поднялась и сказала:

– Вернемся в больницу.

* * *

В кабинете я села в свое кресло, все еще размышляя о том, что рассказала мне Ахматова. Несомненно, ее отношения с Николаем Гумилевым были бы настоящим подарком любому психиатру. Многолетний роман, отказы выйти замуж, попытки суицида. И одновременно многочисленные связи жениха с другими женщинами, которых он, по-видимому, сразу бросал, стоило понадеяться на получение согласия от невесты… если Ахматова рассказывает правду о его частых приездах. Впрочем, я была уверена, что это была чистая правда – слишком уж сбивчиво и страстно она говорила, это было совершенно не похоже на ее плавные спокойные рассказы о собственной биографии, которые можно хоть сейчас вставлять в книгу воспоминаний, так они отшлифованы и приглажены.

Интересно, кстати, и то, что ее, по-видимому, и правда не волновали его романы с другими женщинами, и не беспокоило, что он делал кому-то предложение, будучи еще официально связан узами брака с ней. Исключение составляла только Черубина де Габриак – Елизавета Дмитриева. На ее счет она прошлась довольно жестко. Есть какие-то особые причины, или все дело в том, что та тоже поэтесса? Оставалось надеяться, что у меня еще будет время это выяснить.

Но хотя о Гумилеве больше говорить не было возможности, тему личной жизни вполне можно было продолжить. Ведь у Ахматовой был еще один муж, и к тому же Андрей, по-прежнему очень интересующийся моей пациенткой, уже рассказал мне слухи о том, что у нее были романы с Блоком и с итальянским художником Модильяни.

– Анна Андреевна, – я посмотрела на ее вновь спокойное и непроницаемое лицо, – расскажите мне, пожалуйста, об Александре Блоке. Ведь вы его хорошо знали. Какие у вас были отношения?

Она взглянула на меня с некоторым удивлением, но судя по тому, как легко и гладко полились ее воспоминания, о Блоке ее просили рассказать достаточно часто, и она уже привыкла это делать.

– …В Петербурге осенью 1913 года, в день чествования в каком-то ресторане приехавшего в Россию Верхарна, на Бестужевских курсах был большой закрытый (т. е. только для курсисток) вечер. Кому-то из устроительниц пришло в голову пригласить меня. Мне предстояло чествовать Верхарна, которого я нежно любила не за его прославленный урбанизм, а за одно маленькое стихотворение «На деревянном мостике у края света».

Но я представила себе пышное петербургское ресторанное чествование, почему-то всегда похожее на поминки, фраки,

хорошее шампанское и плохой французский язык, и тосты – и предпочла курсисток.

На этот вечер приехали и дамы-патронессы, посвятившие свою жизнь борьбе за равноправие женщин. Одна из них, писательница Ариадна Владимировна Тыркова-Вергежская, знавшая меня с детства, сказала после моего выступления: «Вот Аничка для себя добилась равноправия».

В артистической я встретила Блока.

Я спросила его, почему он не на чествовании Верхарна. Поэт ответил с подкупающим прямодушием: «Оттого, что там будут просить выступать, а я не умею говорить по-французски».

К нам подошла курсистка со списком и сказала, что мое выступление после блоковского. Я взмолилась: «Александр Александрович, я не могу читать после вас». Он – с упреком – в ответ: «Анна Андреевна, мы не тенора». В это время он уже был известнейшим поэтом России. Я уже два года довольно часто читала мои стихи в «Цехе поэтов», и в «Обществе ревнителей художественного слова», и на «Башне» Вячеслава Иванова, но здесь все было совершенно по-другому.

Настолько скрывает человека сцена, настолько его беспощадно обнажает эстрада. Эстрада что-то вроде плахи. Может быть, тогда я почувствовала это в первый раз. Все присутствующие начинают казаться выступающему какой-то многоголовой гидрой. Владеть залой очень трудно – гений этого дела сейчас Зощенко. Хорош на эстраде и Пастернак.

Меня никто не знал, и, когда я вышла, раздался возглас: «Кто это?»

Блок посоветовал мне прочесть «Все мы бражники здесь…» Я стала отказываться: «Когда я читаю «Я надела узкую юбку» – смеются». Он ответил: «Когда я читаю «И пьяницы с глазами кроликов» – тоже смеются».

Кажется, не там, но на каком-то литературном вечере Блок прослушал Игоря Северянина, вернулся в артистическую и сказал: «У него жирный адвокатский голос».

В одно из последних воскресений тринадцатого года я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждой он написал просто: «Ахматовой – Блок». А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал: «Красота страшна, вам скажут…» У меня никогда не было испанской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и испанизировал и меня. Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не случайно это стихотворение написано испанской строфой романсеро. И в последнюю нашу встречу за кулисами Большого драматического театра весной 1921 года Блок

подошел и спросил меня: «А где испанская шаль?» Это последние слова, которые я слышала от него…

В тот единственный раз, когда я была у Блока, я, между прочим, упомянула, что поэт Бенедикт Лившиц жалуется на то, что он, Блок, «одним своим существованием мешает ему писать стихи». Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: «Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой».

Летом 1914 года я была у мамы в Дарнице, под Киевом. В начале июля я поехала к себе домой, в деревню Слепнево, через Москву. В Москве сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то, у какой-то пустой платформы, паровоз тормозит, бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором неожиданно вырастает Блок. Я вскрикиваю: «Александр Александрович!» Он оглядывается и, так как он был не только великим поэтом, но и мастером тактичных вопросов, спрашивает: «С кем вы едете?» Я успеваю ответить: «Одна». Поезд трогается.

Недавно открываю «Записную книжку» Блока и под 9 июля 1914 года читаю: «Мы с мамой ездили осматривать санаторию за Подсолнечной. – Меня бес дразнит. – Анна Ахматова в почтовом поезде».

Блок записывает в другом месте, что я с Дельмас и Е.Ю. Кузьминой-Караваевой измучили его по телефону. Кажется, я могу дать по этому поводу кое-какие показания.

Я позвонила Блоку. Александр Александрович со свойственной ему прямотой и манерой думать вслух спросил: «Вы, наверное, звоните потому, что Ариадна Владимировна Тыркова передала вам, что я сказал о вас?» Умирая от любопытства, я поехала к Ариадне Владимировне на какой-то ее приемный день и спросила, что сказал Блок. Но она была неумолима:

«Аничка, я никогда не говорю одним моим гостям, что о них сказали другие».

«Записная книжка» Блока дарит мелкие подарки, извлекая из бездны забвенья и возвращая даты полузабытым событиям: и снова деревянный Исаакиевский мост, пылая, плывет к устью Невы, а я с моим спутником с ужасом глядим на это невиданное зрелище, и у этого дня есть дата – 11 июля 1916 года, отмеченная Блоком.

И снова я уже после революции, 21 января 1919 года, встречаю в театральной столовой исхудалого Блока с сумасшедшими глазами, и он говорит мне: «Здесь все встречаются, как на том свете».

А вот мы втроем, Блок, Гумилев и я, обедаем 5 августа 1914

года на Царскосельском вокзале в первые дни войны. Гумилев уже в солдатской форме. Блок в это время ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».

А через четверть века все в том же Драматическом театре – вечер памяти Блока, месяц назад, 7 августа, и я читаю только что написанные мною стихи:

Он прав – опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит…
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит —

Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.

* * *

Андрей ждал моего возвращения с нетерпением и даже встретил прямо у ворот больницы, хотя по средам никогда не заезжал за мной, отговариваясь тем, что в этот день у них заседание редакции.

– Ну? – задал он свой любимый вопрос, распахивая передо мной дверцу машины. – Что она говорит?

Я рассмеялась.

– Андрюша, говорят, любопытной Варваре…

– Таня, не зли меня! – Он завел мотор и вырулил на дорогу. – Это ведь я рассказал тебе о Черубине де Габриак и о романах Ахматовой с Блоком и Модильяни. Без меня ты об этом и не узнала бы никогда!

– Почему это никогда?

– Хорошо, может, когда-нибудь и узнала бы, но точно не сейчас. А тебе скоро уже приговор ей выносить.

Я вспыхнула.

– Никогда, слышишь, никогда не говори так! – У меня даже руки затряслись, и если бы мы были не в машине, я бы точно его стукнула первым, что подвернулось. – Я не судья и не палач, понятно?!

– Извини, – поспешно сказал Андрей, с беспокойством

поглядывая то на меня, то на дорогу, видно, по мне было видно, что я того и гляди в драку полезу. – Неудачно пошутил.

– За такие шутки, знаешь ли, некоторые по десять лет получают! – Я отвернулась и уставилась в окно, пытаясь справиться с эмоциями. Дело плохо, нервы совсем расшатались, а на моей работе это непозволительно.

К счастью, Андрей больше не пытался задавать вопросы, видимо, моя вспышка всерьез его напугала. Поэтому до дома мы доехали молча, и он даже сам вызвался почистить картошку на ужин.

Вновь он заговорил об Ахматовой, только когда картошка уже весело булькала в кастрюле, а я резала овощи на салат и, видимо, выглядела достаточно мирной и готовой к переговорам.

– Тань, ну расскажи хоть что-нибудь. Я не прошу, чтобы ты выдала все секреты Ахматовой, но что-нибудь не очень тайное она ведь тебе сообщила. Был у нее роман с Блоком или нет?

Я решила «смилостивиться», все-таки, во-первых, он действительно очень мне помог, наведя на нужные вопросы, а во-вторых, Ахматова, рассказывая некоторые факты из своей биографии, сама уверяла, что хотела бы поведать их всему миру.

– Она утверждает, что не было.

– Что, совсем? – Андрей был явно разочарован и с надеждой добавил: – А ты уверена, что она говорит правду?

– Конечно, я не могу быть стопроцентно уверена, – признала я, – но посуди сам, с чего бы ей лгать? Роман с Блоком – это почетно, особенно в богемных кругах. Многие женщины, наоборот, придумывают себе несуществующие романы, чтобы примазаться к славе великих поэтов. А она отказывается. Почему?

– А действительно, почему?

Как это ни смешно, но я на самом деле до сих пор не задавалась этим вопросом. Умом я понимала все то, что сказала сейчас Андрею, но, видимо, все равно для меня, девочки из приличной семьи, получившей строгое воспитание и выросшей в такую же приличную добропорядочную женщину, сама мысль о том, что быть чьей-то любовницей почетно, казалась чем-то странным. Поэтому я даже не задавалась вопросом, почему Ахматова отрицает возможность своего романа с Блоком. Мне это казалось естественным. А ведь Андрей прав, для нее, поэтессы, прошедшей «все соблазны Серебряного века», естественно было бы как раз гордиться тем, что у нее был такой роман, или тем, что ей его приписывают. Она же отрицала его с такой страстью, что ей трудно было не поверить.

– Андрюша, а ты прав. – Я слила воду с картошки и начала сервировать стол. – Роман с Модильяни она не отрицает…

– Ага! – обрадовался он.

– Да. Хотя мне, признаться честно, как раз в этот роман не очень верится.

– Почему?

– Трудно сказать, не вдаваясь в подробности. – Я задумалась. – Но хотя бы потому, что получается, она влюбилась в Модильяни, когда еще только-только вышла замуж за Гумилева, буквально прямо в медовый месяц. И одновременно она говорила про особую страсть, про особые отношения, связывавшие их с мужем. Как-то это не вяжется.

– Может, это для тебя не вяжется, а для таких творческих людей, как она, почему бы и нет? – хмыкнул Андрей. – У этих символистов-акмеистов-экспрессионастов и прочих такие страсти кипели, такие любовные многоугольники складывались, представить – никакой фантазии не хватит.

– Ты просто ее не слышал, – не согласилась я. – О Гумилеве она говорит все время так… по-особенному. И называет его по имени и отчеству, Николаем Степановичем. А главное – обо всех рассказывает, ехидничает, вспоминает какие-то случаи, а о нем почти ничего, приходится буквально клещами слова вытягивать. Мне кажется, она почему-то чувствует себя перед ним виноватой. А вот почему – не знаю. Может, потому, что он из-за нее пытался с собой покончить, может, из-за того, что долго не соглашалась за него замуж выйти. А может, потому, что после всего этого она все равно первой подала на развод. Нет, мне не кажется нормальным, что она так легко рассказывает о своем романе с Модильяни сразу после свадьбы.

– Разве это она подала на развод? – заинтересовался Андрей. – Я слышал, что ее чуть ли не вынудили развестись.

– Кто?

– Не знаю, – подумав, признал он. – Просто слышал такую болтовню.

– Да, она об этом говорила. – Я сходила в кабинет и принесла свои записи. Вот: «Почему нигде и никогда не вспоминают, что развод попросила я, когда Николай Степанович приехал из-за границы в 1918 году, и я уже дала слово В.К. Шилейко быть с ним?» И еще потом: «Придумывают, что я была разведена два раза, причем первый раз я была принуждена это сделать, а случилось это перед революцией. Бедный мой разводик! (Начало августа 1918 года.) Думал ли он, что ему будет такая честь, что через много лет он будет выглядеть как мировой скандальный процесс. А я даже никуда не ходила, ни с кем не говорила, абсолютно не знаю, как это происходило. Я просто получила бумажку, что разведена с таким-то. Был голод, был террор – все

куда-то уезжали, многие навсегда, быта не было, все разводились… Нас так давно уже все привыкли видеть врозь, никто не интересовался чужими делами. До того ли было?»

– Откуда же появилась эта сплетня? – задумчиво сказал Андрей.

– Не знаю. – Я закрыла папку с записями. – Я ведь психиатр, а не ясновидящая. Но подозреваю, что все на самом деле очень просто. Ахматова где-нибудь когда-нибудь в сердцах сказала, что была вынуждена развестись, кто-то это не совсем правильно понял, записал в мемуарах или пересказал кому-то. Вот сплетня и полетела. Или могли в стихах что-нибудь вычитать. Она, например, рассказывала, что кто-то, прочитав у нее строки: «А теперь бы домой скорее Камероновой галереей», – увидел в них намек на ее любовную связь с кем-то из обитателей царского дворца.

Андрей расхохотался, но потом внезапно сделался серьезен.

– Кажется, я и такое когда-то слышал…

– Вот видишь. – Я решительно убрала папку со стола. – А теперь давай поедим. Все остальное обсудим после ужина.

Но спокойно поесть нам не удалось, уж слишком он увлекся Ахматовой и ее возможными романами. А ведь он ее даже не видел! И я еще удивляюсь, что после разговоров с ней постоянно о ней думаю. Да она настоящий магнит, притягивающий мысли и вызывающий страстное желание посплетничать.

– А она не говорила, какие из ее стихов посвящены Блоку? – Андрей наскоро проглотил несколько кусков и вернулся к интересовавшей его теме. – Говорят, у нее есть любовные стихи, тайно обращенные к Блоку, и чтобы удостовериться в их романе, достаточно перечитать «Четки».

– И где ты только нахватался таких сплетен? – фыркнула я. – Или ты все это время был тайным поклонником Ахматовой, а я и не знала?

– Сейчас о ней много говорят. – Он неопределенно махнул рукой с вилкой, едва не запустив в меня при этом картофелиной. – Шепотом, но зато очень много.

– Не знаю, она не признается, что посвящала ему любовные стихи. – Я перебрала в памяти отрывки нашего разговора. – А «Четки» я как раз только что прочитала и ничего такого не заметила.

– Ну-ка, ну-ка, – оживился Андрей, – где книга?

– В кабинете, на столе.

Он резво вскочил и, сбегав в кабинет, вернулся с томиком «Четок», полистал его и наконец торжественно прочитал:

Безвольно пощады просят
Глаза. Что мне делать с ними,
Когда при мне произносят
Короткое, звонкое имя?

– И почему ты думаешь, что это посвящено именно Блоку? – скептически спросила я.

– Это не я так думаю, – пояснил Андрей. – Мне сегодня его читали и утверждали, что кто-то из акмеистов ему лично говорил, что это посвящено Блоку.

Я отобрала у него книгу.

– Ты лучше ешь, а то ужин остынет. И знаешь, даже если Ахматова пишет именно о Блоке, это ничего не значит.

– Почему? Разве это не о любви стихотворение?

– Может быть, но Ахматова же не акын, чтобы у нее все стихи были по принципу «что вижу, то и пою». Она где-то в разговоре упоминала, что у нее есть стихи биографические, где она пишет о себе и конкретных людях, а есть… просто стихи, что ли. В которых она выражает свои душевные переживания, но пишет о чем-то выдуманном. К тому же…

Я вновь достала папку и заглянула в исписанные листы.

– К тому же она вот еще говорила: «Я не даю сказать ни слова никому (в моих стихах, разумеется). Я говорю от себя, за себя все, что можно и чего нельзя. Иногда в каком-то беспамятстве вспоминаю чью-то чужую фразу и превращаю ее в стих». Видишь, она всегда все пропускает через себя, но это не значит, что такое с ней и правда было.

– Оригинально, – хмыкнул Андрей, отодвигая пустую тарелку.

– И очень неудобно. – Я собрала со стола посуду в раковину и включила воду. – Из-за этой ее особенности я так и не знаю, как толковать ее стихи «уж лучше б я повесилась вчера».

– А она что говорит?

– Ничего! Иногда мне кажется, что она надо мной специально издевается. Говорит, что все страшно ненаблюдательны и видят только написанное на бумаге, не вникая в смысл. Сегодня вот вспоминала, кстати, как у нее не брали в печать стихотворение «Земная слава как дым…», поскольку она там написала о своем бывшем любовнике: «И бронзовым стал другой на площади оснеженной…» Решили, что она на самом деле утверждает, будто кому-то из ее бывших любовников поставлен памятник.

– А может, это правда? – легкомысленным тоном заявил Андрей. – Кому-то из обитателей царского дворца из

стихотворения про Камеронову галерею.

Я выключила воду и мрачно посмотрела на него. Он только развел руками. И правда, издевательство какое-то – стоит начать искать скрытый смысл в ее стихах, как обязательно его находишь.

Убрав посуду, я прихватила папку с записями, и мы с Андреем отправились в кабинет, поскольку теперь он еще больше интересовался как самой Ахматовой, так и ее предполагаемыми романами.

– Нет, все-таки я думаю, что она говорит правду, и ничего между нею и Блоком не было. – Я сдержала улыбку, когда Андрей попытался заглянуть в мои записи. – Она даже сказала, что ей иногда хочется написать книгу и озаглавить ее «Как у меня не было романа с Блоком». Кто-то из друзей, как она говорит, ее спросил: «А что вам стоило сделать людям приятное и согласиться на роман?» А она ответила: «Я прожила мою, единственную, жизнь, и этой жизни нечего занимать у других. Зачем мне выдумывать себе чужую жизнь?»

– Может, их роман был как-нибудь в такое время, что ей неудобно об этом говорить?

– А о Модильяни удобно? Что может быть более возмутительным, чем адюльтер во время медового месяца?

Андрей усмехнулся.

– Это верно! Тогда, может, у Блока было какое-то такое время… ну что их роман его как-то скомпрометирует.

– Чем можно скомпрометировать Блока?! Тем более сейчас. К тому же она о нем говорила не стесняясь. Я нашла это место и зачитала: «Свой роман с Блоком мне подробно рассказывала Валентина Андреевна Щеголева. Он звал ее в Испанию, когда муж сидел в Крестах. Были со мной откровенны еще две дамы: Ольга Судейкина и Нимфа Городецкая». Нет, это не вариант… – Я задумалась, вспоминая, как Ахматова с насмешкой говорила, что ее наравне с другими современницами назовут «женщинами времени…». – Зато знаешь что мне пришло в голову? А может, она не хочет быть наравне с ними?

– С кем?

– С той же Судейкиной и остальными. Все эти дамы Серебряного века, музы поэтов… мне кажется, она их немного презирает и ставит себя гораздо выше их. Она даже почти никогда не называет себя поэтессой, только поэтом. И вдруг – одна из подружек Блока, какая пошлость.

– А что, это интересная мысль, – согласился он. – Правда, все равно непонятно, был у них роман или нет, но зато это объясняет, почему она утверждает, что не был.

– Вот слушай, это она мне процитировала письмо, которое

кому-то написала мать Блока. Заметь, по памяти: «Я все жду, когда Саша встретит и полюбит женщину тревожную и глубокую, а стало быть, и нежную… И есть такая молодая поэтесса, Анна Ахматова, которая к нему протягивает руки и была бы готова его любить. Он от нее отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная. А он этого не любит. Одно из ее стихотворений я Вам хотела бы написать, да помню только две строки первых:

Слава тебе, безысходная боль, —
Умер он – сероглазый король.

Вот можете судить, какой склон души у этой юной и несчастной девушки. У нее уже есть, впрочем, ребенок. А Саша опять полюбил Кармен».

– Красиво.

– Да, – согласилась я, – они все там были натуры возвышенные. Но читать такое про себя не слишком приятно.

– Почему?

Андрей так искренне удивился. Мужчины… они этих тонкостей почти никогда не понимают. А потом пытаются застрелиться, когда возлюбленная уходит к другому. Были у меня такие пациенты.

– Как ты думаешь, из чего мать Блока сделала такой вывод?

– Наверное, он ей рассказал.

– Вот именно. И что Ахматова читает в этом письме? Что она тосковала по Блоку, но он ей дал от ворот поворот. И еще матери об этом рассказал, а та всем растрепала. Обидно и самолюбие сильно задевает. А потом, видимо, слухи поползли… – Я перелистнула назад. – Вот, она говорила мне, еще когда про Блока рассказывала, а я не поняла: «Блок записывает в другом месте, что я с Дельмас и Е.Ю. Кузьминой-Караваевой измучили его по телефону. Кажется, я могу дать по этому поводу кое-какие показания. Я позвонила Блоку. Александр Александрович со свойственной ему прямотой и манерой думать вслух спросил: «Вы, наверное, звоните потому, что Ариадна Владимировна Тыркова передала вам, что я сказал о вас?» Умирая от любопытства, я поехала к Ариадне Владимировне на какой-то ее приемный день и спросила, что сказал Блок. Но она была неумолима: «Аничка, я никогда не говорю одним моим гостям, что о них сказали другие».

– Думаешь, это все о том же?

– Подозреваю, что да – ползли какие-то слухи, шли пересуды, а она не знала толком, с чем это связано, но чувствовала себя

неловко. А когда узнала – оскорбилась. Причем если это правда и она на самом деле была влюблена в Блока, то, наверное, оскорбилась еще сильнее.

Андрей засмеялся.

– Женская логика!

– Нормальная логика! – парировала я. – Посмотрела бы я на тебя, если бы ты по Серовой вздыхал, а она знала об этом и смеялась у тебя за спиной.

Он опешил.

– Почему по Серовой?

– Я же знаю, что твой кумир – Симонов. А кумиру обычно подражают во всем. В том числе и в выборе возлюбленной.

Кажется, я немного перегнула, потому что Андрей обиделся и ушел, заявив, что ему нужно работать. Точнее, тогда я подумала, что перегнула, и у меня даже мысли не мелькнуло, что у его смущения есть какие-то другие причины. Поэтому я спокойно вернулась к перечитыванию и исправлению записей.

Ахматова, утверждая, что у нее никогда не было романа с Блоком, не отрицала, что они дружески общались, и, кажется, даже гордилась этим. Но это, пожалуй, было самое понятное из всего, что она говорила об их отношениях. Одна из многочисленных любовниц Блока – пошло и скучно, а вот друг великого поэта – есть чем гордиться. Блок до сих пор в некотором роде монумент, Пушкин Серебряного века, а в десятые годы он, похоже, был и вовсе богом для молодых поэтов.

Я нашла упоминание об их встрече 15 декабря 1913 года – видимо, она была чем-то важна для Ахматовой, раз она сохранила в памяти дату. Уходя, она оставила Блоку его книги, чтобы он их надписал для нее. На двух первых томах он просто сделал надпись: «Ахматовой – Блок». А на третьем – посвященное ей стихотворение, видимо, сочиненное сразу после ее ухода:

«Красота страшна» – Вам скажут, —
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан – в волосах.
«Красота проста» – Вам скажут, —
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан – на полу.
Но, рассеянно внимая
Всем словам, кругом звучащим,
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:

«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать; не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна».

Странное стихотворение, вновь сбившее меня с толку при перечитывании. Роман или нет? Чувства или игра? Все же какие-то у них были особые отношения, непонятные мне. И как человека, привыкшего докапываться до истины, меня особенно раздражает, что я никогда их не пойму. Просто потому, что один из двоих уже умер, а второй не хочет говорить правду, и у меня нет времени, чтобы этой правды добиться.

Я даже попыталась действовать «в лоб» и прямо призналась:

– Анна Андреевна, а о чем это стихотворение? Что значат эти сравнения? Чем вы страшны? Я не понимаю.

И что она мне ответила?

– Я тоже не понимаю. И никто не понимает. Одно ясно, что оно написано вот так, – она сделала ладонями движение, словно кого-то отталкивала, – «не тронь меня».

В тот момент мне показалось, что ее задевала такая реакция Блока. И вот теперь, перечитывая и вспоминая разговор, я подумала – а не потому ли она так отрицает их возможный роман, что Блок ею не слишком интересовался? Или интересовался, но отстраненно, отталкивая, когда она пыталась приблизиться. Это весьма болезненно для самолюбия любой женщины, а уж такой, как Ахматова, – особенно.

Книги, надписанные Блоком, она получила не сразу, из-за путаницы с номерами квартир. А после получения написала ему такой ответ: «Знаете, Александр Александрович, я только вчера получила Ваши книги. Вы спутали номер квартиры. И они пролежали все это время у кого-то, кто с ними расстался с большим трудом. А я скучала без Ваших стихов. Вы очень добрый, что надписали мне так много книг, а за стихи я Вам глубоко и навсегда благодарна. Я им ужасно радуюсь, а это удается мне реже всего в жизни. Посылаю Вам стихотворение, Вам написанное, и хочу для Вас радости (Только не от него, конечно. Видите, я не умею писать. Как хочу)».

Стихотворение, которым она ответила на его странное посвящение, я уже читала, да, впрочем, как и все – это одно из тех стихотворений, которые откуда-то знакомы каждому. Может быть, потому что легко запоминаются, а может, еще почему-то, я не литературовед, мне трудно понять.

Я пришла к поэту в гости.

Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз
И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом…
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!
У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен;
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.
Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.

Это стихотворение Ахматова прочитала мне с большим удовольствием и не забыла упомянуть, что Блок сразу же попросил у нее позволения поместить его в первом номере журнала Мейерхольда «Любовь к трем апельсинам». А потом посвятил ей еще одно стихотворение… Кстати, я только сейчас заметила, что она не сказала, какое именно. То ли это было не так важно для нее, то ли оно ей не слишком понравилось и она предпочитала помнить лишь сам факт. Или в нем было что-то такое, о чем она не хотела говорить? Вновь вопросы без ответов!

Зато, рассказывая об этом обмене стихотворениями, Ахматова с гордостью заявила, что после этого Блок вновь начал писать стихи, хотя до этого у него не меньше года был творческий застой. Но мне показалось, что не все там было так просто, иначе с чего бы она вспомнила еще один эпизод из того времени: «Как-то мы с ним выступали на Бестужевских курсах… И вот в артистической Блок захотел поговорить со мной о моих стихах и начал: «Я недавно с одной барышней переписывался о ваших стихах». А я дерзкая была и говорю ему: «Ваше мнение я знаю, а скажите мне мнение барышни…»

Просто так великим поэтам не дерзят. Не простила она того, что он ее оттолкнул своим странным мадригалом? Или сочла, что он недооценил ее стихи? Но в этой ехидной, очень женской дерзости явно видно желание за что-то отомстить.

Я вновь перечитала посвященное ей стихотворение, и мне пришла в голову новая мысль. Неужели Блок ее боялся? Странная мысль, но чем дальше, тем больше мне казалось, что в этом что-то есть. Но чего он мог бояться – великий поэт, любимец женщин?

Я могла предположить только одно, что могло бы его напугать, – он боялся попасть под ее влияние. И вот это стоило обдумать…

* * *

Кажется, я немного задремала над записями. Да и неудивительно – последние ночи я спала очень плохо, постоянно что-то снилось, и просыпаясь, я понимала, что умудряюсь и во сне думать об Ахматовой. Удивительная у нее способность – вроде бы ничего специально не делая, сильно влиять на людей, заставлять их принимать ее дела близко к сердцу. Причем это, похоже, касалось не только обывателей, но и людей выдающихся, не зря Фаина Георгиевна, одна из величайших актрис нашего времени, едва ли не молится на нее. А ее муж, знаменитый поэт, много лет был в сетях ее влияния и даже после развода так никогда и не смог полностью освободиться – продолжал думать о ней, писать о ней стихи и даже оглядываться на ее мнение в каких-то своих поступках. Наверное, только Блок догадался об этой ее способности и, несмотря на то что она его привлекала, старался держаться от нее подальше…

Голова качнулась, и я, вздрогнув, резко выпрямилась, прогоняя дремоту. Но за то мгновение между сном и явью, когда я, устав от размышлений, клевала носом, меня успела посетить такая мысль… Такая мысль, что мне почудилось даже, будто яркая вспышка осветила наконец все «дело Ахматовой» и показала мне все то, что было прежде скрыто тьмой неизвестности.

Ну конечно!

Я схватила телефонную трубку, подержала ее и бросила обратно. Вряд ли прослушивают мой телефон, но вот Фаины Георгиевны… К тому же она ведь сейчас не дома, она упоминала, что у нее сегодня репетиция.

– Андрюша, – я ворвалась в спальню и схватила свою сумочку, – мне срочно нужна твоя помощь! Можешь отвезти меня в Театр драмы?

– Могу, но зачем? – растерялся он.

– По пути объясню. – Я сунула ему пиджак. – Пошли быстрее, спектакль скоро закончится.

– Да какой еще спектакль? – Он недовольно отложил перо и вышел за мной в прихожую, к счастью, не тратя время на изображение из себя обиженного. – И почему это не может подождать до завтра?

– Потому что мне завтра надо ответить, склонна Ахматова к

суициду или нет.

Андрей присвистнул.

– И что ты будешь делать?

Я схватила и накинула пальто, не дожидаясь, пока он подаст мне его, и повернула ключ в замке.

– Это будет во многом зависеть от того, насколько Фаина Георгиевна мне доверяет и готова ли она быть искренней.

Скоро мы уже стояли напротив дверей Театра драмы, привлекая к себе внимание всех случайных прохожих и выходивших из театра подзадержавшихся зрителей.

– Пожалуй, я схожу ее поищу, – решила я. – А тебе лучше немного отъехать, а то на машину все обращают внимание, и завтра обязательно будут судачить, кто и зачем приезжал.

Андрей не стал спорить, уехал подальше от фонарей, остановил машину и погасил фары. А я зашла в театр и спросила, здесь ли еще Фаина Георгиевна. Но тут мне повезло – я даже ответ выслушать не успела, как уже появилась она собственной персоной.

– Танечка? – Она так явно забеспокоилась при виде меня, что даже не сказала ничего остроумного. – Что-то случилось?

– Ничего особенного, – постаралась успокоить ее я, а то гардеробщица уже поглядывала на нас со слишком большим интересом, – мне просто срочно надо вас кое о чем спросить.

Мы вышли из театра, и я, не дожидаясь, пока она что-нибудь скажет, спросила ее в лоб:

– Кто поддерживает Ахматову?

– Что? – Она посмотрела на меня как на ненормальную, но я-то на сей раз хорошо помнила, что передо мной великая актриса, поэтому ни в малейшей степени не поверила ее недоумению.

– Не считайте меня дурочкой. – Мы уже отошли достаточно, чтобы нас точно никто не слышал и даже не мог разглядеть шевеления губ. – Я могу сложить два и два. После таких разгромных речей, как та, которую произнес товарищ Жданов, ленинградские писатели не ездят в Москву и их не направляют к московским психиатрам, не зависящим от ленинградского начальства. После такого разгрома тихо сидят дома и стараются не привлекать к себе внимания. Значит, в Москве у Ахматовой есть могущественные друзья. Ведь так? Вы сами говорили, что меня выбрали не случайно, но я тогда даже не подумала, какой властью должен обладать человек, который может приказать, чтобы Ахматову лечил именно тот психиатр, которому он доверяет.

Она наконец заговорила, пусть и неохотно:

– Не властью, а влиянием.

Еще интереснее.

– Значит, какие-то влиятельные люди хотят ее спасти от других влиятельных людей, которые хотели ее погубить, – сказала я, – и не спорьте, я прочитала те сборники, что вы мне дали. Все стихи, на которые ссылается товарищ Жданов, написаны двадцать и более лет назад. Где он мог их найти? И зачем? Мало ли кто и что писал в двадцатые годы. Значит, кто-то ему их специально показал. Потому что если бы он хотел прочитать что-то новое, он бы первым делом нашел «Мужество» – оно есть в каждой хрестоматии. Прекрасное патриотическое стихотворение о войне.

Я процитировала:

> Не страшно под пулями мертвыми лечь,
> Не горько остаться без крова, —
> И мы сохраним тебя, русская речь,
> Великое русское слово.

– Но за такие стихи никого не осуждают. Я не верю, что товарищ Жданов по собственному почину стал копаться в дореволюционной литературе и всем том, что поэты понаписали в двадцатые годы. Кто-то должен был ему их показать.

Она покачала головой и на редкость мягко сказала:

– Танечка, вы же понимаете, что…

– Я не прошу сказать, кто были эти враги, – поняла я ее недоговоренную фразу. Кстати, можно было гордиться – мой неожиданный напор заставил растеряться Фаину Георгиевну, которая, как известно, никогда не лезла за словом в карман. – Меня интересуют друзья Ахматовой. Те, кто беспокоится о ней, кто помог ей приехать сюда, направил ко мне и, как я думаю, собирается заботиться о ней и дальше.

Мысленно я добавила: «Верные рыцари своей королевы? Ахматовцы? Паладины?» Не знаю, как их называть, но только сегодня, когда я дремала над записями, до меня наконец дошло, что около Ахматовой всегда находились люди, которые восхищались ею и жаждали ей помогать. Даже в самые тяжелые периоды в своей жизни она никогда не оставалась совсем одна против всего мира, как это случилось с несчастной Цветаевой. Причем я могла бы понять это и гораздо раньше, еще когда читала записи Фаины Георгиевны об их жизни в Ташкенте.

– Мне нужны не имена, я должна понять – они и дальше собираются о ней заботиться? Грозит ли ей что-то еще, или дальше шума в газетах и исключения из Союза писателей дело не пойдет? И главное – понимает ли она сама, что ей не дадут

пропасть?

Она внимательно посмотрела мне в лицо, словно пыталась что-то на нем прочитать.

– Танечка, кажется, мы вас недооценили. Я не могу ответить на ваши вопросы, но я передам их тому, кто сможет вам все объяснить.

– Когда? Времени не остается, завтра я обязана вынести решение. А оно будет зависеть от ответов на мои вопросы.

– Так вы уже составили мнение?

Я решительно кивнула.

– Да. Я почти уверена, что могу определить, какие именно обстоятельства могли бы склонить ее к суициду. Поэтому для меня теперь важнее всего узнать не что-то новое о ее характере, а уточнить ситуацию, в которой она сейчас находится.

Кажется, мне удалось быть достаточно убедительной, и она поверила, поскольку еще раз подтвердила, что завтра на мои вопросы обязательно ответят. Мы распрощались – она решительно возразила против того, чтобы я ее подвезла, – и разошлись в разные стороны. Я подозревала, что причина ее отказа проста – она отправится не домой, а к тому человеку, который сейчас использует свое влияние, чтобы помочь Ахматовой. Ну что же, я сделала все, что могла. Можно было возвращаться со спокойной совестью и даже объяснить горевшему любопытством Андрею, из-за чего я помчалась куда-то поздним вечером.

– В одном из разговоров Ахматова упомянула, что в Ташкенте, куда она была эвакуирована, ей предлагали заняться переводами, но она отвергла это недостойное поэта занятие. Тогда мне это не показалось важным, и я, кажется, даже не стала это записывать. Но теперь-то мне стало понятно, что я сделала большую глупость, не обратив на ее слова должного внимания.

– И чем они так важны? – с сомнением сказал Андрей. – Многие поэты считают неинтересным и даже недостойным занятием перекладывание переводного подстрочника в стихи. Это такой поэтический снобизм, очень распространенный.

– Тогда почему же многие известные поэты этим занимаются?

– Потому что за переводы очень хорошо платят.

– Вот именно! – торжествующе кивнула я. – Ахматова жила в Ташкенте в ужасных условиях, мне об этом рассказывала Фаина Георгиевна. Мерзла, болела, денег у нее не было. Друзья добывали для нее топливо, лекарства, помогли ей лечь в больницу. А она при этом отказывалась заниматься переводами, потому что это недостойно истинного Поэта.

– Ты серьезно? – Андрей, как человек практичный и высоко

ценящий комфорт, явно отнесся к моему рассказу довольно скептически. – Может, не все было так ужасно?

– Просто нам с тобой ее не понять, – усмехнулась я. – Для нее поэт – не просто рифмоплет, это Поэт с большой буквы. Он живет поэзией. А всеми земными делами занимаются его почитатели.

* * *

Рассказ Ахматовой о ее романе с художником Модильяни я просматривала уже ночью, несмотря на ворчание Андрея, считавшего, что прекрасно можно дочитать и утром на работе. Но во-первых, это очень не приветствовалось и я могла бы даже получить выговор, а во-вторых, на расшифровку надо сдавать записи с самого утра, иначе секретарю придется написать главврачу докладную записку о задержке.

А рассказ, как назло, был не только длинным, но и вызывающим слишком много вопросов.

«…Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала, и вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности, сияющую – ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная двадцатилетняя женщина, иностранка; во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся.

В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне. Я запомнила несколько фраз из его писем. Вот одна из них: «Вы во мне как наваждение…» Что он сочинял стихи, он мне не сказал.

Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял: «Передача мыслей…» Часто говорил: «Это можете только вы».

Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его – очень короткой, моей – очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-

то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания…»

И опять я почувствовала в этом какую-то фальшь. Рассказ выглядел так же гладко, как и ее связная автобиография, рассказанная в день нашего знакомства. Словно она не раз его обдумывала и шлифовала, чтобы предъявить всем безупречную версию, к которой нельзя придраться. И все же были в ее словах мелочи, на которые стоило обратить внимание.

Например, кто же говорит о человеке, с которым завязываются такие близкие отношения, «я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз». Видела несколько раз, и все – никаких уточнений, никакого пояснения, где в это время был ее молодой муж, с которым они приехали в Париж, никакого намека на характер отношений с Модильяни. Просто видела несколько раз, а в следующем предложении уже перескакивает на зиму и их регулярную переписку.

Нет, конечно такое бывает, не спорю, но обычно она подробно говорит о любых ненужных мелочах, а здесь не пожелала остановиться даже на том, как они познакомились. На все вопросы, несомненно, могла бы ответить их переписка, но, к сожалению, у меня не было ни малейшего шанса ее прочитать. Приходилось делать выводы из того, что есть.

«…Жил он тогда (в 1911 году) в тупике Фальгьера. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 1911 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом.

Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах. Очевидной подруги жизни у него тогда не было. Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности (что, увы, делают все). Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа.

В это время он занимался скульптурой, работал во дворике возле своей мастерской, в пустынном тупике был слышен звук его

молоточка. Стены его мастерской были увешаны портретами невероятной длины (как мне теперь кажется – от пола до потолка). Воспроизведения их я не видела – уцелели ли они? Скульптуру свою он называл вещью – она была выставлена, кажется, у «Независимых» в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография с этой вещи.

В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное (tout le reste) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют негритянским периодом.

Он говорил: «Драгоценности должны быть дикарскими» (по поводу моих африканских бус) – и рисовал меня в них. Водил меня смотреть старый Париж за Пантеоном ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Он сказал: «Я забыл, что посередине находится остров». Это он показал мне настоящий Париж.

По поводу Венеры Милосской говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях.

В дождик (в Париже часто дожди) Модильяни ходил с огромным очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь, около дремал старый дворец в итальянском вкусе, а мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи.

Я читала в какой-то американской монографии, что, вероятно, большое влияние на Модильяни оказала Беатриса Хестингс, та самая, которая называет его «жемчужина» и «поросенок». Могу и считаю необходимым засвидетельствовать, что ровно таким же просвещенным Модильяни был уже задолго до знакомства с Беатрисой Хестингс, т. е. в 10-м году. И едва ли дама, которая называет великого художника поросенком, может кого-нибудь просветить…»

Как много яда в этих трех предложениях. Я все больше убеждалась в том, что одной из главных черт характера Ахматовой является болезненное самолюбие. Ей тяжело выносить, что какую-то Беатрису считают женщиной, повлиявшей на Модильяни, поскольку в душе она уверена – только ей дано

быть главной музой любого творца, с которым у нее были какие-либо отношения. Все-таки именно поэтому она и не любит слухи о своем романе с Блоком – они ставят ее на одну доску с многочисленными любовницами великого поэта, тогда как она сама считает себя намного выше всех его женщин и намного более значимой для его судьбы и творчества.

«…Люди старше нас показывали, по какой аллее Люксембургского сада Верлен с оравой почитателей из «своего кафе», где он ежедневно витийствовал, шел в «свой ресторан» обедать. Но в 1911 году по этой аллее шел не Верлен, а высокий господин в безукоризненном сюртуке, в цилиндре, с ленточкой Почетного легиона, – а соседи шептались: «Анри де Ренье!»

Для нас обоих это имя никак не звучало. Об Анатоле Франсе Модильяни, как, впрочем, и другие просвещенные парижане, не хотел и слышать. Радовался, что и я его тоже не любила. А Верлен в Люксембургском саду существовал только в виде памятника, который был открыт в том же году. Да, про Гюго Модильяни просто сказал: «А Гюго высокопарен?»

Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла.

Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. «Не может быть – они так красиво лежали…»

Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами.

То, чем был тогда Париж, уже в начале двадцатых годов называлось старый Париж или довоенный Париж. Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались «Встреча кучеров», и еще живы были мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но тогда говорили «Пикассо и Брак». Ида Рубинштейн играла Шехерезаду, становился изящной традицией Дягилевский русский балет (Стравинский, Нижинский, Павлова, Карсавина, Бакст).

Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к десятым годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа XX века. Тогда мы этого еще не

знали. 20 июня 1910 года была поставлена «Жар-птица». 13 июня 1911 года Фокин поставил у Дягилева «Петрушку».

Рене Гиль проповедовал «научную поэзию», и его так называемые ученики с превеликой неохотой посещали мэтра.

Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк.

Et Jehanne, la bonne Lorraine,
Qu'Anglois brulérent a Rouen…

Я вспомнила эти строки бессмертной баллады, глядя на статуэтки новой святой. Они были весьма сомнительного вкуса, и их начали продавать в лавочках церковной утвари.

Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки (например, в «Аполлоне» в 1911 году). Над «аполлоновской» живописью («Мир искусства») Модильяни откровенно смеялся.

Меня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала: он, наверно, видит все не так, как мы.

Во всяком случае, то, что в Париже называют модой, украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяни не замечал вовсе.

Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, – эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие «ню»…»

Возможности посмотреть на этот рисунок у меня тоже не было, но тут словам Ахматовой я верила безоговорочно. Она слишком умна, чтобы говорить о доказательствах, которые не может предъявить. Этот рисунок существует, наверняка многие его видели, а значит… А что это значит? Прежде всего то, что в 1911 году она действительно была знакома с Модильяни и что он ее рисовал. Но в этом я и так не сомневалась. А вот не дающий мне покоя 1910 год? Увы, по-прежнему никаких догадок.

«…Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов: Верлена, Лафарга, Малларме, Бодлера.

Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда еще не знала итальянского языка.

Как-то раз сказал: «Я забыл Вам сказать, что я – еврей». Что он родом из-под Ливорно – сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а было ему – двадцать шесть.

Говорил, что его интересовали авиаторы (по-теперешнему – летчики), но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?).

В это время ранние, легкие и, как всякому известно, похожие на этажерки, аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современницей (1889) – Эйфелевой башней.

Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов. Но это уже нечто гулливеровское.

Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливало в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило – Чарли Чаплин. «Великий немой», как тогда называли кино, еще красноречиво безмолвствовал.

«А далеко на севере»… в России умерли Лев Толстой, Врубель, Вера Комиссаржевская, символисты объявили себя в состоянии кризиса, и Александр Блок пророчествовал:

Если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней…

Три кита, на которых ныне покоится XX век – Пруст, Джойс и Кафка, – еще не существовали как мифы, хотя и были живы как люди.

В следующие годы, когда я, уверенная, что такой человек должен просиять, спрашивала о Модильяни у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же: не знаем, не слыхали. Его не знали ни Экстер (русская театральная художница), которая дружила в Париже с итальянским художником Соффичи, ни известный мозаичист Анреп, ни Альтман, который в эти годы (1914–1915) писал мой портрет.

Только раз Н.С. Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк в мае 1918 года и я упомянула имя Модильяни, назвал его «пьяным чудовищем» или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяни протестовал. А жить им обоим оставалось примерно по три года…

К путешественникам Модильяни относился пренебрежительно. Он считал, что путешествие – это подмена истинного действия. «Песни Мальдорора» постоянно носил в кармане; тогда эта книга была библиографической редкостью. Рассказывал, как пошел в русскую церковь к пасхальной заутрене,

чтобы видеть крестный ход, так как любил пышные церемонии. И как некий «вероятно, очень важный господин» (надо думать – из посольства) похристосовался с ним. Модильяни, кажется, толком не разобрал, что это значит…

Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу… А я услышала о нем очень много…

В начале нэпа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова (Ленинград, Моховая, 36, издательство «Всемирная литература»). Тогда снова наладились почтовые сношения с заграницей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то во время заседания передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла – фотография Модильяни… Крестик… Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он – великий художник XX века (помнится, там его сравнивали с Боттичелли), что о нем уже есть монографии по-английски и по-итальянски. Потом, в тридцатых годах, мне много рассказывал о нем Эренбург, который посвятил ему стихи в книге «Стихи о канунах» и знал его в Париже позже, чем я…»

Этот журнал меня очень заинтересовал. Значит, где-то в двадцатые годы Ахматова узнала, что ее давний возлюбленный стал великим художником. Для нее, с ее огромным самолюбием, это был настоящий подарок.

Вот почему история их знакомства и романа выглядит такой отшлифованной. Она, несомненно, гордится тем, что была музой Модильяни, а поскольку он – давно почивший иностранец, связь с которым уже не может ей повредить, она может позволить себе рассказывать об этом романе без утайки. И вот почему в ее словах время от времени звучит фальшь – я была почти уверена, что она кое-что досочинила, расцветив реальную историю новыми красками, чтобы та производила большее впечатление.

Что именно? Я предположила бы, что прежде всего неожиданно вспыхнувшую в 1910 году любовь и долгую переписку. Именно это мне сразу казалось несколько фальшивым. Но для того чтобы быть в глазах всех не просто еще одной из многочисленных подружек ветреного художника, а истинной Музой, женщиной его жизни, недостаточно покрутить с ним роман несколько недель. Многомесячная переписка, душевная близость, истинное взаимопонимание, «чтение мыслей» друг друга – это совсем другое дело.

Опять же становилось понятно, почему она не упомянула о расставании – действительно, лучше промолчать, оставляя загадку, чем говорить банальную правду о закончившейся интрижке и возвращении к мужу. Если эта интрижка вообще была

– я вдруг сообразила, что Ахматова так ловко построила свой рассказ, что из него не ясно, какие именно отношения связывали ее с Модильяни. Что между ними было – страсть, банальный романчик или они просто нашли взаимопонимание на почве обоюдной любви к искусству?

Ох уж эта Ахматова – поиск ответов приводит лишь к новым вопросам! Но с другой стороны, мне ведь прежде всего важно, что у нее в голове. И из этой истории я почерпнула еще один довод в пользу моей твердой уверенности: в голове у нее прежде всего убежденность в собственной значимости. А это уже немало.

Глава 6

Утром, едва я вышла из дома и направилась к остановке, возле меня затормозил автомобиль. Дверца распахнулась, и смутно знакомый голос произнес:

– Доброе утро, Татьяна Яковлевна.

Я взглянула на человека, сидевшего за рулем, и неизвестно чему больше удивилась – тому, что вот так запросто вижу уже ставшего почти легендарным трехкратного лауреата Сталинской премии и кумира моего мужа, Константина Симонова, тому, что он в Москве, а не в очередной заграничной командировке, или тому, что он знает мое имя.

– Здравствуйте, Константин Михайлович, – растерянно пробормотала я.

Он слегка улыбнулся.

– Садитесь, подвезу вас до работы.

Это прозвучало так обыденно, словно мы не в первый раз видимся, а давно уже старые друзья и он время от времени подвозит меня куда-нибудь. Но все равно было заметно, что под его улыбкой скрывается беспокойство. Я вспомнила вчерашнюю беседу с Фаиной Георгиевной, и все встало на свои места. Так вот кто этот влиятельный друг. Ну да, может быть, Симонов и не занимает никакой высокой должности, но влияния у него хоть отбавляй. Впрочем, он ведь вроде бы член Президиума Союза писателей? Я не очень представляла, сколько у него на этом посту реальной власти. Но в любом случае я была уверена, что он не единственный, кто интересуется судьбой Ахматовой, просто должен же кто-то говорить за всех. Кто-то самый смелый.

– Спасибо. – Я села в машину. – Вы не против, если я расскажу мужу о нашем знакомстве? Он ваш большой почитатель.

– Я не против. – Он вновь улыбнулся краем губ, выруливая на главную дорогу. – Передайте от меня привет Андрею Николаевичу. Мне искренне жаль, что его талантливый фронтовой сборник не получил Сталинскую премию.

– Спасибо, – вновь сказала я. – Но вы ведь не об этом хотели со мной поговорить?

Он бросил на меня быстрый взгляд и вновь сосредоточился на дороге.

– Так вас интересует, что ждет вашу пациентку в ближайшем будущем?

– Да, – кивнула я, – вы очень точно сформулировали. И кроме того, мне хотелось бы знать, почему именно она пострадала – это случайность, чья-то личная ненависть к ней или

целенаправленное намерение ее за что-то наказать.

– Зачем вам это?

– Чтобы оценить правильность ее собственной самооценки и определить, насколько адекватно она воспринимает окружающий мир.

Симонов немного поколебался, но все же сказал:

– Вы жена известного журналиста и, должно быть, знаете, какие настроения бродят в кругах художественной интеллигенции?

– Вы имеете в виду идеи либерализации? – осторожно спросила я, не уверенная, насколько большую осведомленность я могу показать, чтобы не подвести Андрея. Он говорил мне, что некоторые люди ждут послаблений, возможности более легкого общения с иностранными корреспондентами, появления американского кино в наших кинотеатрах. Ведь после того, как мы воевали с ними бок о бок против общего врага, это казалось естественным развитием событий.

– Да, – Симонов кивнул. – Это общее ощущение – что-то действительно нужно делать…

– Но не то, на что надеется творческая интеллигенция? – наполовину вопросительно, наполовину утвердительно сказала я, поняв по его недомолвкам, что действия Жданова – это и была попытка что-то сделать, но явно не то, чего все ждали. – Но почему именно Ахматова и Зощенко?

После небольшой паузы он сказал, тщательно подбирая слова:

– Думаю, выбор прицела для удара по Ахматовой и Зощенко связан не столько с ними самими, сколько с тем головокружительным, отчасти демонстративным триумфом, в обстановке которого протекали выступления Ахматовой в Москве, вечера, в которых она участвовала, встречи с нею. И с тем подчеркнуто авторитетным положением, которое занял Зощенко после возвращения в Ленинград. Во всем этом присутствовала некая демонстративность, некая фронда, что ли, основанная и на неверной оценке обстановки, и на уверенности в молчаливо предполагавшихся расширении возможного и сужении запретного после войны.

Я обдумала эту несколько уклончивую речь и уточнила:

– То есть решили «закрутить гайки», и под удар попали те, кто слишком выделялся в последнее время?

Он чуть усмехнулся.

– Вы тоже умеете точно формулировать. Да, цель удара была ясна, но выполнение же было поспешным и беспощадно небрежным в выборе адресатов и в характере обвинений. Вам,

должно быть, известно, что поднимался вопрос о возможности возвращения из эмиграции Бунина или Тэффи. Но разве они захотят вернуться, если мы так разговариваем – с кем? – с Ахматовой, которая не уехала в эмиграцию, которая так выступала во время войны.

– То есть вы считаете, что изначально удар не был направлен именно на Ахматову и Зощенко? – уточнила я.

– Думается мне, торопливое и какое-то, я бы сказал, озлобленное исполнение во многом отличается от замысла, в основном чисто политического. Цель была прочно взять в руки немножко выпущенную из рук интеллигенцию, пресечь в ней иллюзии, указать ей на ее место в обществе и напомнить, что задачи, поставленные перед ней, будут формулироваться так же ясно и определенно, как они формулировались и раньше, до войны, во время которой задрали хвосты не только некоторые генералы, но и некоторые интеллигенты. – Он усмехнулся. – Словом, что-то на тему о сверчке и шестке.

– Значит, – попыталась сделать выводы я, – Ахматова пострадала за излишнюю популярность. Но это не личная ненависть и уж тем более не целенаправленное политическое решение. То есть дальше ее преследовать не будут?

– Думаю, да.

– А ее друзья стараются помочь ей пережить это тяжелое время?

– Да. Когда шум утихнет, ее восстановят в членах Литфонда СССР и снова назначат ей пенсию. Она сможет заниматься переводами, а через какое-то время мы добьемся, чтобы ее стихи вновь начали печатать.

Он говорил очень уверенно, и я окончательно убедилась, что за ним стоят некие очень важные люди, вероятно даже более влиятельные, чем он. Интересно, кто? Сурков? Федин? Андрей говорил, что они всегда были большими поклонниками Ахматовой, а вес в Союзе писателей у них сейчас немалый. Или даже сам генеральный секретарь правления Союза писателей, Александр Александрович Фадеев? Мне было очень любопытно, но я понимала, что для моей работы это не представляет особой важности. Куда важнее был другой вопрос:

– А вы знаете, кто именно указал на Зощенко и Ахматову? Не могу поверить, чтобы товарищ Жданов выбрал их лично.

Он вновь быстро посмотрел на меня и усмехнулся, отдавая должное правильно поставленному вопросу.

– Право указать на особо зарвавшихся интеллигентов предоставили партийному руководству местных творческих союзов.

Я тоже понимающе усмехнулась:

– И обиженные чужим успехом ленинградские литераторы поспешили ткнуть пальцем в зарвавшихся любимцев публики, которые посмели, не имея никаких регалий, срывать бурные аплодисменты в переполненных залах.

Так вот почему все стихи, на которые ссылается товарищ Жданов, как минимум двадцатилетней давности. Ничего компрометирующего в более новых ее стихах не нашлось, но недруги Ахматовой воспользовались тем, что он не слишком разбирается в поэзии. Ясно же, что никто не решится указать самому Жданову, что это написано давным-давно.

Собственно, я и так об этом догадывалась, но была рада получить подтверждение. Оставалось прояснить еще один вопрос.

Симонов остановил машину в переулке недалеко от больницы и внимательно взглянул на меня.

– Вы хотите еще что-то спросить?

– Да, – решилась я. – Скажите, какие у Ахматовой отношения с сыном?

Он несколько удивился, но серьезно ответил:

– Не верьте слухам, сын ей очень дорог. Разве вы не читали, что она написала после его ареста?

И упало каменное слово
На мою, еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

Я молча закусила губу. Нет, это я действительно не читала. У меня были слишком старые сборники, к тому же я подозревала, что это стихотворение и не издавалось, а я никогда не стремилась читать полузапрещенную литературу, распространяемую в списках. Симонов посмотрел на меня с какой-то укоризной и сказал:

– Расскажу вам то, что не всем известно, хотя и не скрывается. Ахматова в 1929 году вышла из Союза писателей по собственным идейным соображениям, в знак протеста против политики в отношении некоторых литераторов. Она и позже отказывалась туда вернуться, пока в 1938 году не арестовали ее сына. Летом 1939 года я приезжал в Ленинград, чтобы предложить ей напечатать ее стихи в «Московском альманахе», и она сама осторожно заговорила о том, что осознала свои заблуждения и хотела бы вновь вступить в Союз писателей.

– И? – тихо спросила я, когда он замолчал.

– Ахматову приняли в Союз писателей, а Льву Николаевичу

Гумилеву дали легкий по тем временам приговор – всего пять лет. С тех пор она стала послушной…

– А ей все равно не повезло, – закончила я. – Спасибо, Константин Михайлович. Вы мне очень помогли.

– Так каков будет ваш вердикт? – серьезно спросил он.

Я покачала головой.

– Простите, не имею права сейчас принимать решение. Мне надо задать Анне Андреевне еще несколько вопросов. Вечером, когда я напишу официальное заключение, тогда и смогу ответить.

– Хорошо. – Он распахнул передо мной дверцу. – Рад был познакомиться, Татьяна Яковлевна.

Я вышла из машины, подождала, пока он уедет, и неторопливо направилась к больнице. До начала рабочего дня оставалось еще около четверти часа – как раз чтобы обдумать разговор и сформулировать вопросы, которые надо задать Ахматовой. Хочу я этого или нет, но сегодня придется принять решение.

* * *

– Анна Андреевна, какие у вас отношения с сыном?

Она испытующе взглянула мне в глаза и непривычно серьезно и сдержанно ответила:

– Он для меня дороже всего на свете.

– Дороже свободы?

– Да.

– Дороже поэзии?

Она молчала несколько секунд, а потом сказала:

– Это… слишком разное.

– Хорошо, – согласилась я. – Вы готовы на унижение ради поэзии?

Она медленно понимающе покачала головой.

– Нет. Поэт может творить только от души. – И отвечая на следующий вопрос, который мне уже не было нужды задавать, сказала: – А ради сына я готова на все.

Это было важно – прямой ответ на прямой вопрос. Теперь для того, чтобы принять окончательное решение, мне не хватало разве что сущей мелочи. Два раза она уходила от ответа на вопрос о самоубийстве, но я надеялась, что хотя бы на третий раз она ответит откровенно. Тем более мы опять сидели в беседке и у нас было еще минут десять для откровенного разговора.

После долгой паузы, во время которой она молча курила, глядя на меня, я сказала:

– Анна Андреевна, у меня еще один вопрос, и пожалуйста, на этот раз не пытайтесь перевести разговор на другое, иначе я решу, что вы скрываете нечто важное.

– Спрашивайте.

– Вы дважды в своих стихах упоминали возможность самоубийства через повешение. Почему?

Она бросила папиросу и с сухим смешком сказала:

– Мне кажется, психиатры похожи на бультерьеров – если вцепятся, никогда не отпустят. Вы правы, в юности я в Евпатории вешалась на гвоздь, и гвоздь выскочил из известковой стенки. Глупый детский поступок. Он навсегда отучил меня от модной среди поэтов игры в самоубийство. Умереть слишком легко.

Я поверила сразу. Это звучало так естественно и так вписывалось в ее характер и поступки, что не было никаких сомнений в ее правдивости.

– Почему же вы мне не рассказали, когда я вас спрашивала?

– Не люблю об этом вспоминать. Мама плакала, мне было стыдно – вообще скверно.

Я и тут ей поверила, хотя не сомневалась, что была и другая причина – мои пациенты вообще не любят рассказывать о попытках суицида, даже если те были много лет назад. И это вполне естественно, если принимать во внимание нашу психиатрию, официально считающую каждого самоубийцу сумасшедшим.

А она вдруг в приступе откровенности – не могу сказать точно, искреннем или продуманном, – сказала мне:

– Настоящую прививку от самоубийства я получила уже потом. Мой брат отравился, когда у него от малярии умер ребенок. Я почти никому об этом не рассказывала.

– Какой ужас, – пробормотала я, в очередной раз понимая, что годы общения с потенциальными суицидниками нисколько меня не закалили и подобные случаи я все равно воспринимаю болезненно.

– Он оставил нам письмо – замечательное. – Лоб Ахматовой перерезала горькая морщинка. – О смерти ни слова. Кончалось оно так: «Целую мамины руки, которые я помню такими прекрасными и нежными и которые теперь такие сморщенные». Жена его тоже приняла яд вместе с ним, но когда взломали дверь и вошли в комнату, она еще дышала. Ее спасли. Она оказалась беременной и родила вполне здорового ребенка.

Наши взгляды встретились. Ахматова серьезно смотрела на меня:

– После этого мне никогда больше не хотелось играть со смертью.

Дальше спрашивать было не о чем, все выводы, которые можно было сделать из ее слов, я уже сделала. Я поежилась от порыва холодного осеннего ветра и встала.

– Пойдемте в кабинет, Анна Андреевна, нет смысла больше здесь мерзнуть. Я уточню у вас еще несколько малозначительных вопросов и отпущу. Все, что нужно для того, чтобы вынести заключение, я уже узнала.

Она тоже поднялась.

– И каков будет ваш вердикт?

Скрывать что-то не было необходимости, поэтому я без обиняков ответила:

– У вас нет ни малейшей склонности к суициду. Если обойтись без профессиональных терминов, то я скажу так: вы несчастливы, но не загнаны в угол, адекватно воспринимаете окружающую действительность, осознаете свою ценность для общества, и вам есть для чего жить. Признаков психического нездоровья я у вас не заметила.

Мысленно я еще добавила, что она знает вкус славы и, несомненно, рассчитывает вновь его ощутить, а кроме того, она убеждена в своем величии, а значит, ей не нужно доказывать его своей смертью. Но такое, разумеется, не стоит говорить пациенту вслух.

* * *

В кабинете, когда мы обе сели на свои места, я поспешила заговорить первой, чтобы не дать Ахматовой возможности задать мне какой-нибудь вопрос насчет ее диагноза. Уже то, что я ей его сообщила до того, как написала официальное заключение, было нарушением правил. И тем более нельзя было его обсуждать, пусть, на мой взгляд, это было бы весьма познавательно и могло бы еще немало о ней рассказать.

– Анна Андреевна, давайте поговорим о… классической литературе.

Она слегка удивилась.

– Неожиданно.

– А почему бы и нет, – улыбнулась я. – На мой вердикт этот разговор уже вряд ли как-то повлияет, но поможет мне лучше разобраться в некоторых тонкостях вашего характера. Признаться честно, мне очень жаль, что наше общение заканчивается – у меня еще не было пациентов с настолько оригинальным складом ума. А поверьте, в моем кабинете бывали очень знаменитые и талантливые люди.

Она склонила голову, благосклонно принимая этот комплимент.

– И о чем же вы предлагаете поговорить?

– Например, о Льве Николаевиче Толстом, – сказала я, вспомнив, что где-то в черновиках Фаины Георгиевны мелькало упоминание об особенном интересе Ахматовой к его творчеству. – Что вы думаете об «Анне Карениной»?

К моему изумлению, Ахматова вдруг буквально вспыхнула.

– Неужели этот роман вам нравится?!

– А вам нет? – растерялась я?

Но она меня даже не слушала, пылая праведным гневом.

– Неужели вы не заметили, что главная мысль этого великого произведения такова: если женщина разошлась с законным мужем и сошлась с другим мужчиной, она неизбежно становится проституткой. И подумайте только: кого же мусорный старик избрал орудием Бога? Кто же совершает обещанное в эпиграфе отмщение? Высший свет: графиня Лидия Ивановна и шарлатан-проповедник. Ведь именно они доводят Анну до самоубийства.

– Но почему же проституткой? – растерянно пробормотала я, ошеломленная таким всплеском эмоций и еще больше – пренебрежительным прозвищем, данным ею Толстому. Толстому, о котором моя учительница литературы говорила только с придыханием, благоговейно понижая голос.

– Не спорьте! Именно так! Весь роман построен на физиологической и психологической лжи. Пока Анна живет с пожилым, нелюбимым и неприятным ей мужем – она ни с кем не кокетничает, ведет себя скромно и нравственно. Когда же она живет с молодым, красивым, любимым – она кокетничает со всеми мужчинами вокруг, как-то особенно держит руки, ходит чуть не голая… И он гнусно относится к ней… Сначала он просто в нее влюблен, любуется ею, черными завитками на затылке… А потом начинает ненавидеть – даже над мертвым телом издевается… описывает ее «бесстыдно-обнаженное» тело – какой-то морг на железной дороге устроил. И Сережу она любит, а девочку нет, потому что Сережа законный, а девочка нет… Уверяю вас… На такой точке зрения стояли окружавшие его люди: тетушки и Софья Андреевна. И скажите, пожалуйста, почему это ей примерещилось, будто Вронский ее разлюбил? Он потом из-за нее идет на смерть…

– Но Толстой ведь пишет, что Вронский стал часто уезжать… Значит, у нее были основания, – попыталась возразить я, с изумлением понимая, что она поставила меня в тупик и перехватила инициативу разговора. Что ж, это мне урок: говорить с поэтом о литературе – значит давать ему в руки все козыри. К

тому же, пожалуй, свою роль сыграло и то, что она расслабилась, услышав вынесенный мною вердикт, и теперь меньше контролировала свои слова и эмоции.

– Вздор, – сказала она. – Никаких у нее не было оснований думать, что он разлюбил ее. И сомневаться. Любовь всегда видна сто раз на день. И у Толстого эта ее чрезмерная подозрительность неспроста: Анна думает, что Вронский не может ее любить потому, что она сама про себя знает, что она проститутка… И не защищайте, пожалуйста, этого «мусорного старика»!

– А почему вы его так называете? – Я немного оправилась от первого ошеломления и начала вновь осторожно брать в свои руки управление разговором.

Она ответила со смешком:

– Томашевский вскоре после кончины Толстого посетил Ясную Поляну и пытался расспрашивать о нем местных крестьян. Они же в ответ на расспросы о Льве Николаевиче упорно рассказывали о Софье Андреевне. Когда же Томашевский попытался перевести все-таки речь на Толстого, один крестьянин ответил: «Да что о нем вспоминать! Мусорный был старик».

Я рассмеялась, и она довольно кивнула:

– Удивительно точное прозвище. Я много о нем думала, и я пришла к твердой мысли, что это мерзость и ужас – всегда. Какая гадость была Ясная Поляна! Каждый и все, все и каждый считали Толстого своим и растаскивали по ниточке. Порядочный человек должен жить вне этого: вне поклонников, автографов, жен-мироносиц – в собственной атмосфере.

– Так вы против славы?

Она сделала презрительный жест.

– Слава – это значит, что вами обладают все и вы становитесь тряпкой, которой каждый может вытереть пыль. В конце жизни Толстой понял ничтожество славы и в «Отце Сергии» объяснил, что от нее надо отмыться. Я особенно уважаю его за это.

– А я думала, вы его не любите, – вновь удивилась я.

– Люблю, не люблю – это слишком примитивно. Толстой – это силища. Полубог! Но все из себя и через себя – и только. Пока он любил Софью Андреевну, она и в Кити, она и в Наташе… Да, да, и в Наташе, не удивляйтесь… Вы думаете, отчего Наташа жмот – в конце, в эпилоге? Оттого, что Софья Андреевна оказалась скупой. Другой причины нет: ведь Наташа-то была добрая, щедрая, сбрасывала с саней вещи, чтоб поместить раненых… Отчего же она стала скупая? Софья Андреевна!.. А когда он разлюбил Софью Андреевну – тогда и «Крейцерова соната», и вообще чтобы никто никого не любил – никто, никогда! – и чтоб никто ни на ком не смел жениться.

– Сказать по правде, мне «Крейцерова соната» показалась очень мерзкой, – сказала я. – Сильной – безусловно, но мерзкой.

Естественно, я не стала признаваться, что терпеть не могу Толстого еще со школы, и прочитала «Войну и мир» только, как говорится, из-под палки, чтобы хорошую оценку получить. Хотя мне очень хотелось сказать, что если бы литературу у меня преподавал кто-нибудь с такими взглядами, как у нее, а не наша благоговеющая перед Толстым учительница, возможно Наташа Ростова мне бы и понравилась.

К моему изумлению, в ответ Ахматова даже сдержанно рассмеялась.

– Обожаю, когда старик начинает выбрыкивать! «Крейцерова соната» – самая гениальная глупость, какую я когда-либо читала. За всю его долгую жизнь ему ни разу и в голову не пришло, что женщина не только жертва, но и участница на пятьдесят процентов. А возьмите «Воскресение»… В чем корень книги? В том, что сам он, Лев Николаевич, не догадался жениться на проститутке, упустил своевременно такую возможность… А деревня там, конечно, ненастоящая, деревня, как правило, такой не была, это он на голоде такую видел и сюда вписал. И эсеры там не эсеры, а толстовцы. Все через себя, всегда и только – уверяю вас.

Я наконец поняла, что меня поражало в ее словах больше всего. Не тема свободы и несвободы любви и даже не фамильярное отношение к Толстому. Удивительнее всего был сам подход – в его романах ее прежде всего интересовали не война, мир, социальные проблемы, классовая борьба и Платон Каратаев, а женщины! Пожалуй, она была первым встреченным мною в жизни человеком, который рассматривал романы Толстого не с литературной или социально-политической точки зрения, а с точки зрения психологии, пусть и достаточно своеобразной.

Ахматова тем временем продолжала:

– Исторической стилизацией – стилизацией в хорошем смысле слова, в смысле соблюдения признаков времени, – Толстой никогда не занимался. Высшее общество в «Войне и мире» изображено современное ему, а не александровское. Отчасти он прав: высшее общество менялось менее всего, но все-таки оно менялось. При Александре, например, оно было гораздо образованнее, чем потом. Наташа – если бы он написал ее в соответствии со временем – должна была бы знать пушкинские стихи, Пьер должен был бы привезти в Лысые Горы известие о ссылке Пушкина. И разумеется, никаких пеленок: женщины александровского времени занимались чтением, музыкой, светскими беседами на литературные темы и сами детей не

нянчили. Это Софья Андреевна погрузилась в пеленки, потому и Наташа… – Она развела руками. – Толстой есть Толстой. Он, конечно, полубог, но иногда в него вселялся дух одной из его тетушек. А заметили ли вы, что в какой-то момент Толстой выпал из литературы? Он был в ней, а потом перестал иметь к ней какое бы то ни было отношение. Конечно, он всегда и отовсюду был слышен и виден – из любой точки земного шара, – но уже как явление природы: ну как зима, осень, заря…

– Анна Андреевна, вы мне буквально глаза открыли, – честно призналась я, понимая, что вновь отдала ей инициативу. Пожалуй, я, после того как вынесла решение, тоже расслабилась и теперь уже и не пыталась вернуть нить разговора в свои руки. К тому же я всегда считала, что, когда пациента «несет» и он говорит легко, не задумываясь, лучше ему не мешать – можно услышать много интересных нюансов.

– Мы, модернисты, – тем временем Ахматова вдруг перескочила на Достоевского, – ошибались, противопоставляя Толстого и Достоевского друг другу. В действительности они похожи и делали одно дело, только один внутри церковной ограды, другой вовне. Оба они – великие учителя морали и оба пеклись об одном…

– О чем?

– Толстой и Достоевский верили, что мир можно исправить, что можно исправить людей. А мы уже не в силах верить. Достоевский знал, что убийца теряет способность жить. Раскольников, отняв жизнь у старухи и Лизаветы, сам лишился способности жить. Он не живет, он даже не ест, он только иногда бросается на кровать и спит одетый. А наши современники? Убивают – и живут всласть. Им это нипочем…

Я закашлялась и, сделав извиняющийся жест, поспешно налила себе воды и выпила. К счастью, Ахматова тут же замолчала – то ли из вежливости, то ли сама поняла, что говорит излишне откровенно и может сказать лишнее. Кажется, рано я расслабилась!

– Анна Андреевна, – прокашлявшись, вспомнила я, – помнится, вы говорили, что пишете аналитические труды о Пушкине…

Мне даже не пришлось продолжать: на этот раз она не вспыхнула, а словно засветилась, и мне тут же на ум пришли слова Фаины Георгиевны, что Ахматова безумно любит Пушкина и когда говорит о нем, становится какой-то воздушной и неземной. И правда, лучше не скажешь.

– Вы знаете, – восторженно рассказывала она, – когда говорят о Пушкине, всегда размышляют, почему высший свет, его

представители ненавидели поэта и извергли его, как инородное тело, из своей среды. И никому не приходит в голову вывернуть эту проблему наизнанку и громко сказать не о том, что они сделали с ним, а о том, что он сделал с ними.

– Я не совсем понимаю, – вставила я, но она меня даже не слушала, настолько ее захватили мысли о Пушкине.

– После этого океана грязи, измен, лжи, равнодушия друзей и просто глупости Полетик и не-Полетик, родственничков Строгановых, идиотов-кавалергардов, сделавших из дантесовской истории une affaire de regiment (вопрос чести полка), ханжеских салонов Нессельроде и пр., высочайшего двора, заглядывавшего во все замочные скважины, величавых тайных советников – членов Государственного совета, не постеснявшихся установить тайный полицейский надзор над гениальным поэтом, – после всего этого как торжественно и прекрасно увидеть, как этот чопорный, бессердечный («свинский», как говаривал сам Александр Сергеевич) и уж, конечно, безграмотный Петербург стал свидетелем того, что, услышав роковую весть, тысячи людей бросились к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались. «II faut que j'arrange ma maison (Мне надо привести в порядок мой дом)», – сказал умирающий Пушкин. Через два дня его дом стал святыней для его Родины, и более полной, более лучезарной победы свет не видел. Вся эпоха, не без скрипа, конечно, мало-помалу стала называться пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и неаншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а затем просто опочили в картотеках и именных указателях (с перевранными датами рождения и смерти) пушкинских изданий. Он победил и время и пространство.

Кажется, я начала понимать, что она имеет в виду, но поскольку я хоть и любила стихи Пушкина, однако такого безумного восторга перед ним не испытывала, меня больше заинтересовало то, что мысль отметить эту особенность пушкинской биографии пришла в голову именно Ахматовой. Кто для нее Пушкин? Любимый поэт, образец слога и стиля, поэт и гражданин или просто символ Поэта? Символ, образец, эталон, к которому надо стремиться. Я уже не раз отмечала, что Ахматова очень самолюбива и очень высоко ставит себя как поэта. Не тем ли объясняется ее восторг перед Пушкиным, что в нем она видит тот образец, которого сама мечтает добиться? Чтобы через сто лет первую половину XX века называли ахматовской порой?

А она, как будто в ответ на мои мысли, продолжала:

– Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это

уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое. В дворцовых залах, где они танцевали и сплетничали о поэте, висят его портреты и хранятся его книги, а их бедные тени изгнаны оттуда навсегда. Про их великолепные дворцы и особняки говорят: здесь бывал Пушкин, или: здесь не бывал Пушкин. Все остальное никому не интересно. Государь император Николай Павлович в белых лосинах очень величественно красуется на стене Пушкинского музея; рукописи, дневники и письма начинают цениться, если там появляется магическое слово «Пушкин», и, что самое для них страшное, – они могли бы услышать от поэта:

За меня не будете в ответе,
Можете пока спокойно спать.
Сила – право, только ваши дети
За меня вас будут проклинать.

– И напрасно люди думают, что десятки рукотворных памятников могут заменить тот один нерукотворный aere perennius.

Ее воодушевление захватило и меня, но последняя латинская цитата слегка сбила с толку.

– «Крепче меди»? Простите, я не понимаю.

Она бросила на меня снисходительный взгляд.

– Это цитата из оды Горация «Exegi monumentum aere perennius» – «Я воздвиг памятник крепче меди», – и с сожалением добавила: – Как много тонкостей теряется в наше время. Толстой и Пушкин писали для людей, знающих языки и понимающих оттенки чужой речи, а ведь в них все дело. Я недавно перечитывала «Войну и мир». Помните, Долохов, пропуская мимо себя французов, пленных, приговаривает: «Filez!» Толстой отмечает, что слову этому Долохов научился от них же, от французов. В этом комментарии – целая эпоха. «Filez!» значит: «давай, давай!» Конечно, гувернеры не обучали своих питомцев таким словечкам… А для нас этот оттенок вульгарности пропадает.

– Со временем пропадают многие тонкости. Не только языковые, – заметила я. – К примеру, кто сейчас поймет аллюзии на знаменитых современников, которых, как говорят критики, довольно много в произведениях того же Пушкина.

– Вы правы, – неожиданно легко согласилась Ахматова. – Поэтому ценность одних произведений падает, а других возрастает. Знаете, есть предположение, что многие непристойные эпиграммы Пушкина в действительности

принадлежат Льву. А если они и пушкинские – я бы все равно их в однотомниках не печатала. И «Гавриилиаду». Раньше эта поэма имела антирелигиозный смысл, а теперь – один только непристойный. Ее надо печатать в академическом издании и нигде более.

– Вы считаете, не стоит пугать молодежь непристойными стихами и разрушать их иллюзии насчет Пушкина, – улыбнулась я.

Она откинулась на спинку кресла и заложила руки за голову.

– Видите ли, поэт и должен быть бесстыдным, – наконец медленно произнесла она после раздумий. – Но не для всех. – Она смотрела куда-то вдаль, сквозь стену, как будто видела что-то далекое и непонятное мне. – Опасная вещь искусство. В молодости этого не сознаешь. Какая страшная судьба, с капканами, с волчьими ямами. Я теперь понимаю родителей, которые пытаются уберечь своих детей от поэзии, от театра… Подумайте только, какие страшные судьбы… В молодости этого не видишь, а если и видишь, то ведь «наплевать»…

– Но если у человека к искусству призвание, в молодости это, наверное, уже заметно, – предположила я.

– Это вовсе не так, не думайте, пожалуйста, – сразу отвела она мои возражения. – Я сейчас имею возможность наблюдать, как создаются воспоминания. Когда я училась в Царском, в гимназии, то двумя классами старше меня училась молоденькая девушка. Я помню, что она была смуглая и стройная и зимой ходила с муфтой. Это все, что помню о ней я. Она же теперь рассказывает всюду о моей юности. Что она может вспомнить? Мне было пятнадцать лет, самая заурядная, тихая, обыкновенная гимназистка.

Она помолчала и, видимо, вновь перенеслась мыслями к классической литературе:

– Вот так и с Лермонтовым, вероятно, получилось. Он жил очень недолго. Его никто не заметил. Никто его жизни не увидал, никто не понял – такой он был или другой. А потом кинулись писать воспоминания. Людям этим было уже под шестьдесят. Они ничего не помнили и списывали друг у друга… Поэтому заниматься биографией Лермонтова очень скучно.

– В детстве я очень любила Лермонтова, – призналась я. – Он мне казался страшно романтичным.

Ахматова благосклонно кивнула.

– К Лермонтову иногда трудно бывает подойти, потому что у него много графоманского. У него много лирических вещей неопределенной формы, неопределенного содержания; и одно без больших оснований переходит в другое. – Она улыбнулась

собственным словам. – А под конец – целая вереница шедевров. Но знаете, что я хочу вам сказать, – с неожиданной горячностью продолжила она, – я очень не люблю, когда нынешние пятидесятилетние дамы утверждают, будто в их время молодежь была лучше, чем теперь. Вы им не верьте. Это неправда. В нашей юности молодежь стихов не любила и не понимала. Толщу было ничем не пробить, не пробрать. Стихи были забыты, разлюблены, потому что наши отцы и матери, из-за писаревщины, считали их совершенным вздором, ни для какого употребления не годным, или в крайнем случае довольствовались Розенгеймом. Я очень хорошо помню, как я принесла в гимназию «Стихи о Прекрасной Даме» и первая ученица сказала мне: «И ты, Горенко, можешь всю эту ерунду прочесть до конца!» Пухленькая, беленькая, с белым воротничком и вот таким бантом в волосах – все ясно вперед на целую жизнь… Ее было ничем не прошибить. И такими были все.

– Может быть, вам просто не повезло, и в классе были в основном девочки из типичных буржуазных семей? Дети прогрессивной интеллигенции, наверное, несколько отличались.

– Вовсе нет. У нас были богатые девочки, которым в двенадцать часов лакеи из дому приносили на серебряном подносе завтраки, и бедные, дочери портных или сироты. Но стихов не любили и не знали ни те, ни другие… Подумать только, что их матери и отцы проглядели почти полустолетнюю работу Тютчева… Нет, модернисты великое дело сделали для России. Этого нельзя забывать. Они сдали страну совсем в другом виде, чем приняли. Они снова научили людей любить стихи, самая культура издания книги повысилась.

– А как сейчас, по-вашему? Люди стали более образованными и понимающими поэзию или, наоборот, деградировали?

Она тут же безапелляционно заявила:

– Безусловно сейчас стало лучше. Я вообще не знаю страны, в которой больше любили бы стихи, чем наша, и больше нуждались бы в них, чем у нас. Когда я лежала в больнице, меня попросила один раз сиделка – даже не сиделка, простая уборщица: «Вы, говорят, гражданочка, стихи пишете… Написали бы мне стишок, я в деревню пошлю…» И оказалось, что она каждое письмо оканчивает стихом, и та, которая ей пишет из деревни, – тоже. Вы только подумайте!

Я хотела сказать, что разделяю ее восторг, но в этот момент в кабинет постучали.

– Товарищ Никитина. – На пороге стояла старшая медсестра и сверлила меня привычно суровым взглядом. – Извините, но я хотела вам напомнить, что главврач ждет от вас отчет сегодня до конца рабочего дня, – и она выразительно посмотрела на часы.

– Спасибо, Варвара Ивановна. – Я подождала, пока дверь закроется, и развела руками. – Анна Андреевна, я больше не могу вас задерживать. Жаль, что наше знакомство оказалось таким недолгим, я бы очень хотела узнать о вас и вашей жизни побольше.

– Зачем? – улыбнулась она. – Разве вы недостаточно меня изучали и анализировали?

Но я ответила совершенно серьезно:

– Конечно недостаточно. Я ответила для себя лишь на один вопрос – имеете ли вы склонность к суициду. Для того чтобы ответить на другие вопросы, которые у меня возникали, понадобились бы не дни, а недели или даже месяцы.

Ахматова тоже посерьезнела.

– Возможно, когда-нибудь мы продолжим беседу. Но, надеюсь, не в вашем кабинете, – и протянула мне руку.

Мы обменялись рукопожатиями и расстались, как я тогда была почти уверена, навсегда. После ее ухода я села писать отчет для главврача и закончила его буквально за минуту до того, как зазвонил телефон.

– Товарищ Никитина, вы вынесли решение?

– Да, – сказала я. – Но вы понимаете, что оно лишь предварительное? В отчете я укажу, что окончательный вердикт возможен лишь после всестороннего изучения и…

– Мы это понимаем. – Человек на том конце провода, несомненно, знал все уловки, которые психиатры применяли для уменьшения ответственности за принятое решение. – Каков ваш вердикт?

– У Ахматовой Анны Андреевны склонности к суициду не наблюдается. Симптомы психических расстройств не обнаружены. Если наличествуют какие-либо отклонения, определить их без госпитализации не представляется возможным.

– Благодарю вас.

Раздались короткие гудки. Я положила трубку, взяла отчет и вышла из кабинета. Мое изучение Ахматовой закончилось.

По крайней мере, так я тогда думала.

Глава 7

В полном одиночестве в Горьком я встретила 1953 год. Я в то время работала там заведующей психиатрическим отделением и сама вызвалась дежурить в новогоднюю ночь, поскольку была единственной из врачей, кому не с кем было праздновать. Маша тридцатого декабря была занята в университете и все равно не успевала ко мне приехать… ну а с Андреем мы развелись еще в 1950 году.

Собственно именно поэтому я и оказалась в Горьком. Развод я пережила очень тяжело, тем более что причиной его стало увлечение Андрея одной молодой артисткой, которой в то время прочили большое будущее. Об их отношениях я узнала случайно, хотя, пожалуй, уже кое-что чувствовала и до того, как правда вышла наружу. Андрей тщательно скрывал от меня свой роман на стороне, но поведение мужчин в такой ситуации очень типично и предсказуемо. Когда я потом вспоминала, как он себя вел в последние несколько месяцев, то даже удивлялась своей слепоте. Если бы не постоянная занятость на работе и подготовка к защите диссертации, конечно, я поняла бы все гораздо раньше.

Как психиатр я видела, что это увлечение не настолько серьезно, чтобы заставить Андрея уйти из семьи, но как женщина не могла простить измены. Поэтому предпочла сама подать на развод. Оставаться с ним в одной квартире было для меня слишком тяжело, а делить ее я не хотела – Маша скоро должна была закончить учиться, и я считала, что она должна вернуться в трехкомнатную квартиру отца, а не в комнату в коммуналке, которую я бы, вероятно, получила при разделе. Я временно жила у одной из коллег и пыталась придумать, что же мне делать, как вдруг мне пришла в голову мысль перебраться в другой город. Специалисты требовались постоянно, а уехав по направлению, я могла бы сохранить прописку в квартире Андрея.

Маша училась в Ленинграде, и сначала я хотела переехать к ней, даже стала искать подходящее место в какой-нибудь ленинградской больнице. Но от этой мысли пришлось отказаться – в Ленинграде как раз разоблачили враждебную антипартийную группировку, начались аресты, а потом была даже восстановлена смертная казнь, отмененная в 1947 году. Это было не самое подходящее время, чтобы туда переезжать, тем более что среди моих пациентов в свое время были некоторые видные ленинградцы и члены их семей.

И тут совершенно случайно один горьковский врач, приехавший к нам на конференцию, сообщил, что в их

психиатрической больнице есть место заведующего отделением, на которое ищут специалиста с моей квалификацией. Вопрос о командировании меня в Горький решился на удивление быстро, и в начале 1951 года я уже уехала.

Там было тоже неспокойно, но, к счастью, не по политическим причинам. В ноябре за использование операции лейкотомии при лечении больных шизофренией был снят с должности заведующего кафедрой психиатрии Горьковского медицинского института профессор Гольденберг. Психохирургия была признана противоречащей основным принципам физиологического учения И.П. Павлова, а это фактически означало, что она объявлена лженаукой.

Гольденберга не арестовали и даже позволили работать дальше – кажется, он вскоре занял какую-то должность в больнице Полтавы. Но и горьковскую больницу, и институт сильно лихорадило, ведь это касалось не одного профессора Гольденберга, было разгромлено целое направление в психиатрии. Психохирургия была отброшена на много лет назад, и я не могла не сочувствовать тем, кто на ней специализировался, ведь пошел прахом труд всей их жизни.

Но мне эти перемены принесли скорее пользу – на фоне потрясений, которые испытывала горьковская больница, мой приезд туда прошел почти незамеченным. Сторонникам профессора Гольденберга пришлось уволиться, поэтому получилось, что я пришла не в спаянный коллектив, где все на виду, а стала лишь одной из многих новых сотрудников, и никому не было особого дела, кто я, откуда и почему переехала к ним из Москвы.

Работа там была достаточно скучной и не совсем соответствующей моей специализации, но уже скоро я поблагодарила судьбу за то, что та вовремя помогла мне уехать подальше и от Москвы, и от Ленинграда.

Когда в 1951 году начались аресты врачей по обвинению в заговоре и убийствах видных членов партии, я сначала отнеслась к этому как большинство разумных граждан – со страхом, беспокойством, опасением, но не более того. Но дело набирало обороты, и вскоре заговорили не просто об «убийцах в белых халатах», но и о «сионистском заговоре».

Вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Психиатров вроде бы это дело не особенно касалось – арестовывали в основном терапевтов. Но подозревать стали всех и особенно тех, у кого были еврейские фамилии. Дошло до того, что люди отказывались идти на прием к врачам-евреям, а вскоре и руководство больницы стало находить поводы, чтобы их уволить.

И я понимала, что им еще повезло, в провинциальном городе, пусть и таком большом, они мало кого интересовали и могли отделаться только увольнением. А вот в Москве…

Какое счастье, что я вовремя уехала. В Москве меня знали слишком давно, и кто-нибудь непременно раскопал бы в личном деле, какой была моя девичья фамилия. Но в Горьком я не устраивалась на работу заново, а переводилась, поэтому обошлось без заполнения анкеты. Так что здесь меня знали только как Никитину, по паспорту я была русской, а по внешности во мне опознать еврейку было нельзя, особенно с тех пор, как я стала осветлять волосы. Ну и, конечно, я сидела тише воды и ниже травы, молясь про себя, чтобы гроза прошла мимо.

Но через несколько дней после Нового года, проведенного, как я уже сказала, на дежурстве и в компании грустных воспоминаний о прошлом, меня вызвал главврач и сообщил, что я еду в Москву на конференцию, которая будет проводиться со второго по четвертое марта. Объяснил он это тем, что я москвичка, знакома со многими столичными психиатрами, поэтому мне будет легче там ориентироваться. Объяснение выглядело не слишком правдоподобным, мягко говоря. Неужели никто из моих коллег не хочет ехать в Москву? Когда такое было?

Я поневоле вспомнила 1937–1938 годы. Тогда мне казалось, что страшнее уже быть не может. Даже вечная жизнерадостность Андрея в то время несколько поугасла. Особенно после того, как мы с ним зашли в один из магазинов конфиската… Магазины эти не рекламировались в прессе, не имели ярких вывесок, о них просто все знали, но не все решались туда даже заглянуть. Потому что знали – это не просто комиссионные магазины, хотя в них и продаются вещи, бывшие в употреблении, от мебели и книг до семейных фотоальбомов и детских раскрасок.

Тот, в который мы зашли, был больше похож на склад, чем магазин: висели ряды люстр, выстроились ряды книжных шкафов, диванов, роялей, стояли целые и не очень сервизы, горы столовой посуды, на полу лежали в беспорядке разбросанные ковры. Меня почему-то больше всего поразило обилие армейской одежды, среди которой как-то терялись гражданские костюмы и дамские платья. А страшнее всего были детские платьица – они потом еще долго снились мне в кошмарных снах. Мы ничего не купили и даже никогда больше не говорили с Андреем о том, чтобы туда зайти, благо с нашей работой мы были в более выгодном положении, чем многие другие советские граждане, и могли доставать что-то пусть подороже, но другим путем.

И все-таки в то время мы хоть и дрожали вместе со всеми, разумом все равно понимали, что нас происходящее вряд ли

коснется. Андрей был всего лишь молодым, тогда еще неизвестным журналистом, популярность он приобрел уже позже, во время войны, когда писал очерки с фронта. Я тем более была простым врачом, не так давно закончившим учиться и поступившим на работу в психиатрическое отделение. К тому же мы оба знали, хоть никогда это и не обсуждали, что арестовывают в основном военных – ходили ужасные слухи о заговоре в армии, к которой мы не имели никакого отношения.

Сейчас – другое дело. Возвращаясь от главврача, я со странным злым весельем думала: Андрей, наверное, радуется, что вовремя со мной развелся. Теперь он известный журналист, писатель – вот недавно я опять видела его рассказ в «Литературной газете». Жена-еврейка, да еще и врач – это последнее, что ему сейчас нужно.

* * *

Второе марта было понедельником, поэтому я решила приехать на день раньше, чтобы не идти на конференцию прямо с поезда. Так что первого числа я вышла из вагона и сразу отправилась к телефонной будке. Найти номер в гостинице всегда было сложно, и главврач резонно сказал мне, что у меня московская прописка, а значит, есть и законная жилплощадь, и платить за мое проживание нет никакой надобности.

Он, конечно, был прав, и я понимала, что мои объяснения насчет бывшего мужа и унизительности проживания в одной квартире с его любовницей не покажутся ему убедительным аргументом. Другие по десять человек в одной комнате живут, а я, видите ли, не могу потерпеть три дня в трехкомнатной квартире. Поэтому спорить я не стала, а позвонила своей бывшей коллеге и подруге Наташе, которая согласилась приютить меня на время конференции.

Однако когда я, сойдя с поезда, набрала ее номер, ответила не она, а ее соседка. Оказалось, у Наташи заболел отец, и она срочно сорвалась среди ночи и уехала в Харьков. Оставить мне ключ от комнаты она, конечно, даже не вспомнила.

Я не могла ее за это винить, жизнь и здоровье близких – это самое важное на свете. Но вот что было теперь делать мне? Не ночевать же на вокзале?

И вот тут я по-настоящему разозлилась. В конце концов, я действительно имею законное право жить в квартире Андрея. Развелись мы достаточно давно, чтобы я могла спокойно встретиться с его любовницей и даже вести себя так, чтобы это

она конфузилась в моем присутствии. Психиатр я или нет?

И хотя внутренний голос говорил мне, что это самообман и вся психология мигом вылетит у меня из головы, когда я увижу другую женщину в моей квартире и с моим мужем, все равно я решительно набрала свой домашний номер.

Гудки шли довольно долго, и я уже было подумала, что никого нет, когда в трубке наконец раздался сонный голос Андрея:

– Никитин.

Я взглянула на часы. Ну конечно – воскресное утро, время еще раннее, а он любитель поспать. Что ж, так тебе и надо!

– Алло? – недовольно сказал голос в трубке.

Я постаралась говорить как можно спокойнее, без малейшего волнения:

– Здравствуй, Андрей.

– Таня?! – тут же проснулся он.

– А что ты так удивляешься? Я вроде бы не умерла, а только уехала в Горький. Хотя понимаю – для московского журналиста это практически одно и то же.

– Просто я не ожидал, что ты позвонишь! – К своему удивлению, я поняла, что его голос звучит до странности радостно. Хотя в следующем вопросе мелькнуло некоторое беспокойство: – Что-то случилось?

– Нет. Но я приехала в Москву на конференцию, и поскольку мне не сняли гостиницу, вынуждена буду переночевать три ночи в нашей квартире. Я там прописана, ты не забыл?

– Не забыл, конечно. Ты где? На Курском вокзале?

– Да.

– Я сейчас за тобой приеду.

– Зачем? – изумилась я. Он такую заботливость не проявлял, даже когда мы были женаты. – Сама доберусь.

– С двумя пересадками? Не выдумывай! Выходи к Земляному Валу, я скоро буду.

И как обычно, бросил трубку – он всегда так делал, поэтому последнее слово обычно оставалось за ним.

Можно было, конечно, поступить по-своему, поехать на трамвае, но это было бы глупостью и ребячеством, не говоря уж о том, что ключей у меня не было и все равно пришлось бы ждать его у дверей.

Приехал он быстро – судя по неправильно застегнутой рубашке и взлохмаченным волосам, я действительно подняла его прямо с постели, и он сразу побежал заводить машину, не успев даже толком одеться.

– Здравствуй, Таня.

Смотреть, как он колеблется, не зная, как меня приветствовать, было немного смешно и очень грустно. Я с серьезным видом подала ему руку для рукопожатия, а сама едва сдержала вздох. За два года я привыкла к мысли, что мы разведены, и это навсегда, но вот появился Андрей – все такой же обаятельный, с такой же обезоруживающей улыбкой, и даже седина на висках ему очень идет… И мне вдруг стало так обидно, что я в глубине души, оказывается, продолжаю его любить, а он… он улыбается, как будто и не виноват ни в чем, и пожимает мне руку, словно мы лучшие друзья.

– Не обязательно было меня встречать. – Я вручила ему чемодан и села в машину, не дожидаясь, пока он откроет передо мной дверцу.

Он убрал чемодан в багажник и сел за руль.

– Как твои дела? Нравится в Горьком?

– Нормально, – сухо сказала я. – А у тебя?

– Мою новую книгу очерков выдвинули на Сталинскую премию, – похвастался он.

– Поздравляю. Надеюсь, дашь почитать?

– Конечно. – Он бросил на меня довольный взгляд и вдруг сказал: – Кстати, я ведь сам хотел тебе позвонить, но не решился говорить по телефону, мало ли что. Два дня назад ко мне вдруг зашла Фаина Георгиевна.

– Зачем? – изумилась я.

– Передала для тебя какую-то папку, просила сохранить. Сказала, что там ничего опасного, можешь прочитать, если хочешь.

– Почему тебе?.. – Я осеклась. Ну конечно, она, наверное, и не знает, что мы развелись. Я с тех пор дважды приезжала в Москву, оба раза бывала у нее, но ничего не говорила о своих личных делах. – Почему ты не сказал, что мы в разводе?

Он вновь бросил на меня быстрый взгляд.

– Решил оказать ей услугу. Она как-то нервничала. И мне было любопытно, что там.

– И что? – спросила я, догадываясь, что он сразу же сунул нос в эту папку.

– Представь себе – переписка Ахматовой! Я помню, ты хотела ее прочитать – так считай, это судьба. Ты позвонила мне, а у меня как раз эти письма!

– Ты их прочитал?

– Не все еще. Но обязательно дочитаю. Особенно письма Гумилева. – Он неожиданно сделался непривычно задумчивым. – Есть в них что-то особенное… какая-то внутренняя сила. И очень сильные чувства. Читал и с трудом верил в то, что ты

рассказывала – про Модильяни, измены, развод…

На сей раз осекся он, видимо сообразив, с кем разговаривает. Беседовать с бывшей женой об изменах и разводах – не слишком хорошая идея. К счастью, мы были уже около дома, поэтому неловкая пауза была тут же заполнена бытовой суетой. Мы вышли из машины и под любопытствующими взглядами старушек на лавочке соседнего дома вошли в подъезд.

В квартире я тут же огляделась, но, к своему изумлению, не заметила никаких признаков проживающей там женщины. Ни пальто, ни шляпки, ни женских туфель и сапожек. Всюду были вещи одного только Андрея.

– А где же твоя подделка под Серову?

Вопрос вырвался у меня непроизвольно, и я тут же о нем пожалела, уж очень он звучал… лично, явственно показывая, что мне не все равно.

Но Андрей, кажется, не заметил моей растерянности и коротко сказал:

– Мы расстались.

– Давно?

– Год назад.

Сказать по правде, я была в смятении. Расстались, и давно. С одной стороны, я это предсказывала, когда заставляла себя абстрагироваться от личных чувств и рассуждать только как психиатр. Я хорошо знала, почему Андрей выбрал именно эту женщину, не зря же я называла ее «подделкой под Серову».

Он слишком хотел быть как Симонов, слишком тянулся за ним, поэтому неосознанно подражал ему во многих вещах. В том числе его, как и многих, восхищала романтическая история о поэте и его музе-артистке. Когда-то он даже был романтически влюблен в саму Серову, но потом нашел ей подходящую замену – молодую актрису, которую многие называли «новой Серовой».

Конечно, с самого начала было ясно, что подобные игры подсознания – не самая подходящая основа для серьезных отношений. И конечно, я с самого начала знала, что если бы я сама не подала на развод, со временем Андрей разочаровался бы в своей «музе» и вернулся бы к семейному очагу. Тем более что новой Серовой из этой ловкой девицы не получилось.

Вот только мне это было не нужно. Я в такие игры не играю, всех этих уходов-возвращений не понимаю, а главное – меня его измена ударила в самое сердце. Притворяться и ждать я не могла и не хотела.

Впрочем, сейчас это все уже в прошлом, и меня не должно волновать, когда Андрей расстался со своей пассией и сколько у него было романов после нее.

– Надеюсь, у тебя есть хоть что-нибудь на завтрак? – Я наконец нашла что сказать и поспешно скрылась в ванной, чтобы помыть руки и заставить себя успокоиться. – И чем ты вообще питаешься? Женщины в доме нет, а готовить ты не умеешь.

– Я научился жарить яичницу. А вообще ты права, обычно я ужинаю в ЦДЛ или в Доме журналиста.

– Понятно. – Я вышла в прихожую уже с самым спокойным видом, на какой была способна. – Тогда на правах радушного хозяина пожарь, пожалуйста, яичницу, пока я принимаю душ с дороги. А я, так и быть, приготовлю тебе ужин по старой памяти. И принеси папку с письмами Ахматовой, я действительно давно хотела их изучить.

* * *

Архив Ахматовой оказался не таким большим, как можно было бы ожидать. Всего несколько небольших пачек писем и какие-то черновики, в общем-то тоже немногочисленные. С другой стороны – раз Фаина Георгиевна сказала, что ничего компрометирующего в папке нет, значит, этот архив точно не полный. Интересно, остальное Ахматова сожгла или просто спрятала в более надежном месте?

Я взяла несколько писем, помеченных как переписка с С.В. Штейном. Любопытно – писем довольно много, они написаны рукой Ахматовой, но сама она в разговорах со мной даже не упоминала о человеке с такой фамилией. Что это? Очередная попытка что-то скрыть? Или наоборот, этот человек для нее уже настолько неважен, что она не сочла нужным о нем говорить?

Я развернула первое письмо.

<1906 г.>

Мой дорогой Сергей Владимирович, простите и Вы меня, я в тысячу раз больше виновата в этой глупой истории, чем Вы.

Ваше письмо бесконечно обрадовало меня, и я буду очень счастлива возвратиться к прежним отношениям, тем более что более одинокой, чем я, даже быть нельзя.

Мой кузен Шутка называет мое настроение «неземным равнодушием», и мне кажется, что он-то совсем не равнодушен и, на мое горе, ко мне.

Все это, впрочем, скучная чепуха, о которой так не хочется думать.

Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак или едут в театр, и я слушаю тишину в темной

гостиной. Я всегда думаю о прошлом, оно такое большое и яркое. Ко мне здесь все очень хорошо относятся, но я их не люблю.

Слишком мы разные люди. Я все молчу и плачу, плачу и молчу. Это, конечно, находят странным, но так как других недостатков я не имею, то пользуюсь общим расположением.

С августа месяца я день и ночь мечтала поехать на Рождество в Царское, к Вале, хоть на три дня. Для этого я, собственно говоря, жила все это время, вся замирая от мысли, что буду там, где… ну да все равно.

И вот Андрей объяснил мне, что ехать немыслимо, и в голове такая холодная пустота. Даже плакать не могу.

Мой милый Штейн, если бы Вы знали, как я глупа и наивна! Даже стыдно перед Вами сознаться: я до сих пор люблю В. Г.-К. И в жизни нет ничего, кроме этого чувства.

У меня невроз сердца от волнений, вечных терзаний и слез. После Валиных писем я переношу такие припадки, что иногда кажется, что уже кончаюсь.

Может быть, глупо, что я Вам это говорю, но хочется быть откровенной и не с кем, а Вы поймете, Вы такой чуткий и так хорошо меня знаете.

Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку. Я дам переснять и сейчас же вышлю Вам обратно. Может быть, он дал Вам одну из последних. Не бойтесь, я не «зажилю», как говорят на юге.

Вы хороший, что написали мне, я Вам страшно благодарна. Что Вы делаете, думаете и видаете ли Валерию?

Ваша Аня.

P.S. Тоника советую сунуть в… Андрей говорил мне, что он все тот же. Куда Вам писать?

Мой адрес: г. Киев, Меринговская ул., д. № 7, кв. 4. А.А. Горенко.

Письмо прояснило не слишком многое, но кое-что меня заинтересовало. Во-первых, этот Штейн, видимо, был ей каким-то близким человеком – вероятно, другом или родственником, отношения с которым на время прерывались. Но это точно не ее возлюбленный, раз она пишет ему о неком В. Г.-К., о котором, кстати, тоже ни разу не упоминала. Возможно, это тот человек, из-за которого она отказывалась выйти замуж за Гумилева?

<1906 г.>

Киев. Меринговская, 7, кв. 4.

Мой дорогой Сергей Владимирович, совсем больна, но села писать Вам по очень важному делу: я хочу ехать на Рождество в

Петербург. Это невозможно, во-первых, потому, что денег нет, а во-вторых, потому, что папа не захочет этого. Ни в том, ни в другом Вы помочь мне не можете, но дело не в этом. Напишите мне, пожалуйста, тотчас же по получении этого письма, будет ли Кутузов на Рождество в Петербурге. Если нет, то я остаюсь с спокойной душой, но если он никуда не едет, то я поеду. От мысли, что моя поездка может не состояться, я заболела (чудесное средство добиться чего-нибудь), у меня жар, сердцебиение, невыносимые головные боли. Такой страшной Вы меня никогда не видели.

Денег нет. Тетя пилит. Кузен Демьяновский объясняется в любви каждые пять минут (узнаете слог Диккенса?). Что мне делать?

Когда приеду, расскажу Вам одну удивительную историю, только напомните, я теперь все забываю.

Знаете, милый Сергей Владимирович, я не сплю уже четвертую ночь. Это ужас, такая бессонница. Кузина моя уехала в имение, прислугу отпустили, и когда я вчера упала в обморок на ковер, никого не было в целой квартире. Я сама не могла раздеться, а на обоях чудились страшные лица. Вообще скверно!

У меня есть предчувствие, что я так-таки не поеду в Петербург. Слишком уж я этого хочу.

Между прочим, могу сообщить Вам, что бросила курить. За это кузены чествовали меня.

Сергей Владимирович, если бы Вы видели, какая я жалкая и ненужная. Главное, не нужная, никому, никогда. Умереть легко. Говорил Вам Андрей, как я в Евпатории вешалась и гвоздь выскочил из известковой стенки? Мама плакала, мне было стыдно – вообще скверно.

Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него опять пахло обедом.

Милый, света нет.

Стихов я не пишу. Стыдно! Да и зачем?

Отвечайте же скорее о Кутузове.

Он для меня – в с ё.

Ваша Аннушка.

P.S. Уничтожайте, пожалуйста, мои письма. Нечего и говорить, конечно, что то, что я Вам пишу, не может быть никому известно.

Аня.

Теперь прояснилось, что В. Г.-К. – это, видимо, Голенищев-Кутузов. Правда, это ничего мне не давало, поскольку о Кутузове Ахматова при мне тоже ни разу не упоминала. Такую фамилию я

бы не забыла.

Зато в письме она писала о том, как пыталась повеситься, и это меня очень сильно обрадовало. Все эти годы я не была уверена, что она рассказала мне правду, и боялась, что приняла решение, основываясь на выдумке, которую она сочинила специально, чтобы ввести меня в заблуждение. Да, это немного паранойя, но это естественно для моей профессии, где диагноз приходится ставить, исходя не из объективных фактических симптомов, а из субъективных выводов со слов пациента.

31 декабря 1906 г.

Дорогой Сергей Владимирович, сердечный припадок, продолжавшийся почти непрерывно шесть дней, помешал мне сразу ответить Вам. Неприятности сыпятся как из рога изобилия, вчера мама телеграфировала, что у Андрея скарлатина.

Все праздники я провела у тети Вакар, которая меня не выносит. Все посильно издевались надо мной, дядя умеет кричать не хуже папы, а если закрыть глаза, то иллюзия полная. Кричал же он два раза в день за обедом и после вечернего чая. Есть у меня кузен Саша. Он был товарищем прокурора, теперь вышел в отставку и живет эту зиму в Ницце. Ко мне этот человек относился дивно, так что я сама была поражена, но дядя Вакар его ненавидит, и я была, право, мученицей из-за Саши.

Слова «публичный дом» и «продажные женщины» мерно чередовались в речах моего дядюшки. Но я была так равнодушна, что и ему надоело наконец кричать, и последний вечер мы провели в мирной беседе.

Кроме того, меня угнетали разговоры о политике и рыбный стол. Вообще скверно!

Может быть, Вы пришлете мне в заказном письме карточку Кутузова. Я только дам сделать с нее маленькую для медалиона и сейчас же вышлю Вам. Я буду Вам за это бесконечно благодарна.

Что он будет делать по окончании университета? Снова служить в Кр. Кресте? Отчего Вы не телеграфировали мне, как было условлено? Я день и ночь ждала телеграмму, приготовила деньги, платья, чуть билет не взяла.

Но уж такое мое счастие, видно! Сейчас я одна дома, принимаю визиты, а в промежутках пишу Вам. Это, конечно, не способствует стройности моего письма – но Вы простите, да?

Пишите, когда будет время, о себе. Мы так давно не виделись.

Я буду на днях сниматься. Прислать Вам карточку?

Аня.

P.S. Тысяча пожеланий на Новый год.

<Январь 1907 г.>

Милый Сергей Владимирович.

Если бы знали, какой Вы злой по отношению к Вашей несчастной belle-soeur. Разве так трудно прислать мне карточку и несколько слов?

Я так устала ждать!

Ведь я жду ни больше ни меньше как пять месяцев.

С сердцем у меня совсем скверно, и только оно заболит, левая рука совсем отнимается. Мне не пишут из дому, как здоровье Андрея, и поэтому я думаю, что ему плохо.

Может быть, и Вы больны, что так упорно молчите. Я кончила жить, еще не начиная. Это грустно, но этот так. Где Ваши сестры? верно, на курсах, о, как я им завидую. Уж, конечно, мне на курсах никогда не бывать, разве на кулинарных.

Сережа! Пришлите мне карточку Г.-К. Прошу Вас в последний раз, больше, честное слово, не буду.

Я верю, что Вы хороший настоящий друг, хотя Вы как никто знаете меня.

Ecrivez.

Аня.

Эти два письма не дали ничего интересного, кроме понимания того, что Ахматова смертельно скучала в родительском доме, и того, что ее любовь к Кутузову длилась как минимум полгода – примерно столько времени прошло между первым и четвертым письмами.

2 февраля 1907 г.

Милый Сергей Владимирович, это четвертое письмо, которое я пишу Вам за эту неделю. Не удивляйтесь, с упрямством, достойным лучшего применения, я решила сообщиться Вам о событии, которое должно коренным образом изменить мою жизнь, но это оказалось так трудно, что до сегодняшнего вечера я не могла решиться послать это письмо. Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Помните у В. Брюсова:

Сораспятая на муку,
Враг мой давний и сестра,
Дай мне руку! дай мне руку!
Меч взнесен. Спеши. Пора.

И я дала ему руку, а что было в моей душе, знает Бог и Вы, мой верный, дорогой Сережа. Оставим это.

…всем судило Неизбежное,
Как высший долг, – быть палачом.

Меня бесконечно радуют наши добрые отношения и Ваши письма, светлые желанные лучи, которые так нежно ласкают мою больную душу.

Не оставляйте меня теперь, когда мне особенно тяжело, хотя я знаю, что мой поступок не может не поразить Вас.

Хотите знать, почему я не сразу ответила Вам; я ждала карточку Г.-К. и только после получения ее я хотела объявить Вам о своем замужестве. Это гадко, и чтобы наказать себя за такое малодушие, я пишу сегодня и пишу все, как мне это ни тяжело.

Вы пишете стихи! Какое счастие, как я завидую Вам. Мне нравятся Ваши стихотворения, я вообще люблю Ваш стиль.

Тетрадь Ваших стихов у нас, и когда я вернусь домой, я вышлю ее Вам, если Андрей не предупредил меня. Я не пишу ничего и никогда писать не буду. Я убила душу свою, и глаза мои созданы для слез, как говорит Иоланта. Или помните вещую Кассандру Шиллера. Я одной гранью души примыкаю к темному образу этой великой в своем страдании пророчицы. Но до величия мне далеко.

Не говорите никому о нашем браке. Мы еще не решили, ни где, ни когда он произойдет. Э т о – т а й н а, я даже Вале ничего не написала.

Пишите мне, Сергей Владимирович, мне стыдно просить об этом, отнимать у Вас время, которое Вам так дорого, но Ваши письма – такая радость.

Зачем Вы называете меня Анна Андреевна? Ведь последний год в Царском эти церемонии уже совершенно вышли из употребления. Я – другое дело. Но ведь разница в годах и положении играет большую роль.

Пришлите мне, несмотря ни на что, карточку Владимира Викторовича. Ради Бога, я ничего на свете так сильно не желаю.

Ваша Аня.

P.S. Стихи Феодорова за немногими исключениями действительно слабы. У него неяркий и довольно сомнительный талант. Он не поэт, а мы, Сережа, – поэты. Благодарю Вас за Сонеты, я с удовольствием их читала, но должна сознаться, что больше всего мне понравились Ваши заметки. Не издает ли А. Блок новые стихотворения – моя кузина его большая поклонница.

Нет ли у Вас чего-нибудь нового Н.С. Гумилева? Я совсем не знаю, что и как он теперь пишет, а спрашивать не хочу.

Это письмо меня немного смутило. Уже в который раз я осознала, как же плохо я понимаю Ахматову, несмотря на все наши разговоры и на те выводы, которые я из них сделала. В письмах к Штейну меня шокировала не только ее откровенность, но и само понимание того, что согласие Гумилеву она дала в то время, когда еще была влюблена в Голенищева-Кутузова. Которого – я вновь это отметила – она в разговорах со мной даже ни разу не упомянула. Было это слишком тайным и личным? Или, наоборот, она стыдилась своей юношеской страсти и постаралась вычеркнуть ее из памяти и из жизни?

< Февраль 1907 г. >

Мой дорогой Сергей Владимирович, я еще не получила ответа на мое письмо и уже снова пишу. Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне – я так безумно счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснение. Всякий раз как приходит письмо из Парижа, его прячут от меня и передают с великими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, холодные компрессы и общее недоумение. Это от страстности моего характера, не иначе. Он так любит меня, что даже страшно. Как Вы думаете, что скажет папа, когда узнает о моем решении? Если он будет против моего брака, я убегу и тайно обвенчаюсь с Nicolas. Уважать отца я не могу, никогда его не любила, с какой же стати буду его слушаться. Я стала зла, капризна, невыносима. О, Сережа, как ужасно чувствовать в себе такую перемену. Не изменяйтесь, дорогой, хороший мой друг. Если я буду жить в будущем году в Петербурге, Вы будете у меня бывать, да? Не оставляйте меня, я себя ненавижу, презираю, я не могу выносить этой лжи, опутавшей меня… Скорее бы кончить гимназию и поехать к маме. Здесь душно! Я сплю 4 ч. в сутки вот уже 5-й месяц. Мама писала, что Андрей поправился, я поделилась с ним моей радостью, но он мне (увы!) не поверил.

Целую Вас, мой дорогой друг.

Аня.

Всего через несколько дней уже совсем другой тон. Забыла любовь к Кутузову и увлеклась новой игрой, теперь уже в счастливую невесту и тайную свадьбу? Или это специально, чтобы Штейн передал Кутузову, что она его забыла?

11 февраля 1907 г.

Мой дорогой Сергей Владимирович, не знаю, как выразить бесконечную благодарность, которую я чувствую к Вам. Пусть Бог пошлет Вам исполнения Вашего самого горячего желания, а я никогда, никогда не забуду того, что Вы сделали для меня. Ведь я пять месяцев ждала его карточку, на ней он совсем такой, каким я знала его, любила и так безумно боялась: элегантный и такой равнодушно-холодный, он смотрит на меня усталым спокойным взором близоруких светлых глаз. Il est intimidant, по-русски этого нельзя выразить. Как раз сегодня Наня купила II сборник стихов Блока. Очень многие вещи поразительно напоминают В. Брюсова. Напр., стих. «Незнакомка», стр. 21, но оно великолепно, это сплетение пошлой обыденности с дивным ярким видением. Под моим влиянием кузина выписывает «Весы», в этом году они очень интересны, судя по объявлению. Если бы Вы знали, мой дорогой Сергей Владимирович, как я Вам благодарна за то, что Вы ответили мне. Я совсем пала духом, не пишу Вале и жду каждую минуту приезда Nicolas. Вы ведь знаете, какой он безумный, вроде меня. Но довольно о нем. Я когда-то проиграла Мешкову пари – мои стихи. Вероятно, он поэтому спрашивал Вас о них. Я хочу послать ему анонимно маленькую поэму, которая посвящается нашим прогулкам летом 1905 г. Если случайно знаете его адрес, сообщите, пожалуйста. Мы кутим, и Сюлери играет главную роль в наших развлечениях. Отчего Вы думали, что я замолчу после получения карточки? О нет! Я слишком счастлива, чтобы молчать. Я пишу Вам и знаю, что он здесь со мной, что я могу его видеть – это так безумно-хорошо. Сережа! Я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно нет! Гумилев – моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной.

Посылаю Вам одно из моих последних стихотворений. Оно растянуто и написано без искры чувства. Не судите меня как художественный критик, а то мне заранее страшно. В Вашем последнем письме вы говорите, что написали что-то новое. Пришлите, я буду ужасно (женское слово) рада видеть Ваши стихи. Вот хорошо, если бы мы когда-нибудь встретились. Еще раз благодарю Вас за карточку, Вы не знаете, что Вы сделали для меня, мой хороший!

Аня.

И опять поворот на сто восемьдесят градусов! Вновь Кутузов, «яд неразделенной любви», но… теперь это кажется каким-то искусственным.

Я перечитала еще раз – действительно, слишком много пафоса, а между тем создается впечатление, что «Незнакомка» Блока и ее собственные стихи, приложенные к письму, занимают ее мысли гораздо больше, чем неразделенная любовь к Кутузову и будущий брак с Гумилевым. Кажется, наконец я начала узнавать в этих письмах ту Ахматову, с которой беседовала в сентябре 1946 года.

Еще одно письмо я лишь пробежала взглядом – особого интереса оно не представляло, вновь стихи, чтение, и совсем немного о Гумилеве и Кутузове. И тон изменился, из него ушла та искренность, которая была поначалу, но и пафос тоже уменьшился. А вот следующее письмо без даты выглядело куда более любопытным.

<Без даты>

Дорогой Сергей Владимирович, хотя Вы прекратили со мной переписку весной этого года, у меня все-таки явилось желание поговорить с Вами.

Не знаю, слышали ли Вы о моей болезни, которая отняла у меня надежду на возможность счастливой жизни. Я болела легкими (это секрет), и, может быть, мне грозит туберкулез. Мне кажется, что я переживаю то же, что Инна, и теперь ясно понимаю состояние ее духа. Так как я скоро собираюсь покинуть Россию очень надолго, то решаюсь побеспокоить Вас просьбой прислать мне что-нибудь из Инниных вещей на память о ней. Тетя Маша хотела бы передать мне дедушкин браслет, который был у Инны, и если Вы исполните ее просьбу, я буду Вам бесконечно благодарна. Но дело осложняется тем, что это вещь ценная, и я очень боюсь, как бы Вы не подумали, что я хочу иметь украшение, а не память. Вы так давно не видели меня, и Вам может показаться, что я пускаюсь на аферу. Прошу Вас, Сергей Владимирович, если у Вас явится такая мысль, не присылайте браслета или не отвечайте мне на это письмо, и тогда я его не хочу. Надеюсь, этого не будет, ведь когда-то мы были друзьями, и если Вы изменились ко мне, то я нисколько к Вам.

Не пишите тете Маше, что я говорила Вам о браслете. Она может это неверно понять.

Не говорите, пожалуйста, никому о моей болезни. Даже дома – если это возможно. Андрей с 5 сентября в Париже, в Сорбонне. Я болею, тоскую и худею. Был плеврит, бронхит и хронический катар легких. Теперь мучаюсь с горлом. Очень боюсь горловую чахотку. Она хуже легочной. Живем в крайней нужде. Приходится мыть полы, стирать.

Вот она, моя жизнь! Гимназию кончила очень хорошо. Доктор

сказал, что курсы – смерть. Ну и не иду – маму жаль.

Увидя меня, Вы бы, наверно, сказали: «Фуй, какой морд». Sic transit gloria mundi!

Прощайте! Увидимся ли мы?!

Аннушка.

г. Севастополь.
Малая Морская № 43 кв. 1.

Прежде всего я наконец поняла, кто такой Штейн – это муж сестры Ахматовой, Инны. Видимо, и друг, и родственник в одном лице. Это письмо было написано после ее смерти – видимо, овдовев, Штейн перестал почему-то поддерживать отношения со свояченицей. Ну а кто такой Андрей, я поняла практически сразу – это тот самый несчастный брат Ахматовой, который покончил с собой. Я узнавала о его судьбе вскоре после того, как она уехала в Ленинград, выясняла, правду ли она сказала мне о его самоубийстве. Оказалось, что да, все было именно так печально, как она и говорила – Андрей Горенко и его жена отравились в 1919 году после смерти своего единственного сына. Он умер, а ее откачали, и через семь месяцев она родила ребенка. Безумный поворот судьбы и действительно хорошая прививка от легкомысленного отношения к самоубийству.

Я отложила письма к Штейну, поколебалась, глядя на переписку Ахматовой и Гумилева, но решила сначала прочитать менее важные письма и взяла несколько листочков, помеченных как переписка с Блоком. Первым там лежало письмо самой Ахматовой, о котором она мне рассказывала.

<6 или 7 января 1914 г. Петербург>

Знаете, Александр Александрович, я только вчера получила Ваши книги. Вы спутали номер квартиры, и они пролежали все это время у кого-то, кто с ними расстался с большим трудом. А я скучала без Ваших стихов.

Вы очень добрый, что надписали мне так много книг, а за стихи я Вам глубоко и навсегда благодарна. Я им ужасно радуюсь, а это удается мне реже всего в жизни.

Посылаю Вам стихотворение, Вам написанное, и хочу для Вас радости. (Только не от него, конечно. Видите, я не умею писать, как хочу.)

Анна Ахматова.

Тучков пер., 17, кв. 29

18 января 1914. (Санкт-Петербург)

Глубокоуважаемая Анна Андреевна!

Мейерхольд будет редактировать журнал под названием «Любовь к трем апельсинам». Журнал будет маленький, при его студии, сотрудничают он, Соловьев, Вогак, Гнесин. Позвольте просить Вас (по поручению Мейерхольда) позволить поместить в первом номере этого журнала – Ваше стихотворение, посвященное мне, и мое, посвященное Вам. Гонорара никому не полагается. Если вы согласны, пошлите стихотворение Мейерхольду (Площадь Маринского театра, 2) или напишите мне два слова, я его перепишу и передам.

Простите меня, что перепутал № квартиры, я боялся к Вам звонить и передал книги дворнику.

Преданный Вам Александр Блок.

Офицерская, 57, кв. 21. Тел. 612-00.

Какой разный тон. Ахматова пишет очень личное письмо, немного льстит, немного заигрывает, а Блок отвечает ей сухими казенными фразами, словно отталкивая.

26 марта 1914. (Петербург)

Многоуважаемая Анна Андреевна.

Вчера я получил Вашу книгу, только разрезал ее и отнес моей матери. А в доме у нее – болезнь, и вообще тяжело; сегодня утром моя мать взяла книгу и читала не отрываясь: говорит, что не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски – подлинно.

Спасибо Вам.

Преданный Вам Александр Блок.

P. S. Оба раза, когда Вы звонили, меня действительно не было дома.

И вновь странное письмо – оценка, но не своя. Положительная, но с оттенком снисходительности. Намек на то, что у него нет времени читать ее стихи (или читать женские стихи?), но вот мать оценила? Если это и не так, я уверена, что Ахматову такая похвала должна была скорее оскорбить, чем порадовать. Тем более что она всегда считала себя Поэтом, а не какой-то поэтессой.

Но меня как врача это письмо не могло не радовать – в нем я увидела именно то, что несколько лет назад предположила,

анализируя разговоры с Ахматовой. Если мои выводы и не были стопроцентно верными, то уж близкими к истине они были точно, теперь я в этом не сомневалась.

14 марта 1916. (Петроград)

Многоуважаемая Анна Андреевна.

Хоть мне и очень плохо, ибо я окружен болезнями и заботами, все-таки мне приятно Вам ответить на посылку Вашей поэмы. Во-первых, поэму ужасно хвалили разные люди и по разным причинам, хвалили так, что я вовсе перестал в нее верить. Во-вторых, много я видел сборников стихов, авторов «известных» и «неизвестных»; всегда почти – посмотришь, видишь, что, должно быть, очень хорошо пишут, а мне все не нужно, скучно, так что начинаешь думать, что стихов вообще больше писать не надо; следующая стадия – что я стихов не люблю; следующая – что стихи вообще – занятие праздное; дальше – начинаешь уже всем об этом говорить громко. Не знаю, испытали ли Вы такие чувства; если да, – то знаете, сколько во всем этом больного, лишнего груза.

Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они – не пустяк, и много такого – отрадного, свежего, как сама поэма. Все это – несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши «вовсе не знала», «у самого моря», «самый нежный, самый кроткий» (в «Четках»), постоянные «совсем» (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу). Тоже и «сюжет»: не надо мертвого жениха, не надо кукол, не надо «экзотики», не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больнее. – Но все это – пустяки, поэма настоящая, и Вы – настоящая. Будьте здоровы, надо лечиться.

Преданный Вам Ал. Блок.

Прошло два года, тон довольно сильно сменился. За это время Блок оценил Ахматову как поэта? Или помогло то, что они стали меньше общаться, и он перестал бояться попасть под ее влияние, вот и смог позволить себе ее оценить? Как бы то ни было, Ахматовой это письмо должно было понравиться гораздо больше, чем предыдущее, – в нем Блок говорит с ней как старший опытный товарищ, как поэт с поэтом, и даже, пожалуй, предостерегает ее от излишнего ухода в «поэтессы». И судя по стихам военных лет, она последовала его совету писать «жестче, неприглядней, больнее».

Глава 8

Вечером вернулся Андрей – его срочно вызывали в редакцию что-то обсуждать насчет его очерков, выдвинутых на Сталинскую премию. Судя по его довольному виду, обсуждение прошло удачно, и он явно был не прочь об этом рассказать. Но я из мелкой мстительности не стала ничего у него спрашивать, накормила его обещанным ужином и вернулась в кабинет, читать архив Ахматовой.

Тут уж Андрей не выдержал и, заглянув ко мне, поинтересовался:

– Ну как тебе письма Гумилева? Что скажешь?

Пришлось признаться, что я до них еще не дошла.

– А что читаешь? – Он заглянул в папку и пожал плечами. – Письма Блока? Зачем? Там то, что ты и так знаешь.

Вот она, разница в мышлении врача и журналиста, во всей красе.

– Теперь знаю, – пояснила я. – Мои прежние умозаключения теперь подтвердились документами. Это очень важно.

– Было бы важно, если бы ты продолжала лечить Ахматову. – Он сел на диван возле меня и взял стопку писем Гумилева. – Но она уже не твоя пациентка. К тому же вот эти письма расскажут о ней гораздо больше.

Я не стала больше возражать, тем более что мне и самой было очень интересно разобраться в странных отношениях Ахматовой и Гумилева. Хотя по правде говоря, а с кем у нее были не странные отношения?

Писем самой Ахматовой к Гумилеву нашлось всего два, и оба датированные летом 1914 года. А вот его писем было куда больше, и они были куда обширнее. Но я тут же мысленно отругала себя за несправедливые мысли. Это же естественно – письма мужа она сохраняла у себя, а ее письма были у него и могли в ее архив потом просто не вернуться. К тому же еще Фаина Георгиевна в одном из наших разговоров упоминала, что Ахматова не питала склонности к эпистолярному жанру, чувства она предпочитала изливать в стихах. А к написанию писем у нее и вовсе время от времени возникало что-то вроде фобии.

Все письма были аккуратно пронумерованы, а на тех, на которых не было даты, рукой Ахматовой были проставлены примерные числа, в которых оно было отправлено.

13 июля 1914. Слепнево

Милый Коля, 10-го я приехала в Слепнево. Нашла Левушку

здоровым, веселым и очень ласковым. О погоде и делах тебе верно напишет мама. В июльской книге «Нового слова» меня очень мило похвалил Ясинский. Соседей стараюсь не видеть, очень они пресные. Я написала несколько стихотворений, которых не слышал еще ни один человек, но меня это, слава Богу, пока мало огорчает. Теперь ты в курсе всех петербургских и литературных дел. Напиши, что слышно? Сюда пришел Жамм. Только получу, с почты же отошлю тебе. Прости, что я распечатала письмо Зноски, чтобы большой конверт весил меньше. Я получила от Чулкова несколько слов, написанных карандашом. Ему очень плохо, и мне кажется, что мы его больше не увидим.

Вернешься ли ты в Слепнево? или с начала августа будешь в Петербурге? Напиши мне обо всем поскорее. Посылаю тебе черновики моих новых стихов и очень жду вестей. Целую.

Твоя Аня.

17 июля 1914. Слепнево

Милый Коля, мама переслала мне сюда твое письмо. Сегодня уже неделя, как я в Слепневе. Становится скучно, погода испортилась, и я предчувствую раннюю осень. Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще пишу стихи. Посылаю тебе одно сегодня, оно, кажется, имеет право существовать. Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет, у тебя, наверно, тоже. С «Аполлона» получишь пустяки. А нам уже в августе будут нужны несколько сот рублей. Хорошо, если с «Четок» что-нибудь получим. Меня это все очень тревожит. Пожалуйста, не забудь, что заложены вещи. Если возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать.

Будет ли Чуковский читать свою статью об акмеизме как лекцию? Ведь он и это может. С добрым чувством жду июльскую «Русскую мысль». Вероятнее всего там свершит надо мною страшную казнь Valere. Но думаю о горчайшем, уже перенесенном, и смиряюсь.

Пиши, Коля, и стихи присылай. Будь здоров, милый!

Целую!

Твоя Анна.

Левушка здоров и все умеет говорить.

Простые бытовые письма, ничего особенного, никаких сильных эмоций. Я перечитала их еще раз. Похоже, больше всего Ахматову в то время интересовали стихи, куда меньше – сын и финансовые вопросы, а сам Гумилев и того меньше. Блоку она в

том же году писала и нежнее, и кокетливее.

С другой стороны, письма написаны тепло и без казенщины – так пишут не любовникам, а супругам, с которыми прожили много лет. Вот только Ахматова с Гумилевым прожили вместе совсем немного, и время это было наполнено конфликтами, обидами, подозрениями и изменами. Чем дальше, тем непонятнее…

Я взяла первое в пачке письмо Гумилева, написанное за два года до этих записок.

[Июнь 1912. Слепнево]

Милая Аничка, как ты живешь, ты ничего не пишешь. Как твое здоровье, ты знаешь, это не пустая фраза. Мама нашила кучу маленьких рубашечек, пеленок и т. д. Она просит очень тебя целовать. Я написал одно стихотворение вопреки твоему предупреждению не писать о снах, о том моем итальянском сне во Флоренции, помнишь? Посылаю его тебе, кажется, очень нескладное. Напиши, пожалуйста, что ты о нем думаешь. Живу я здесь тихо, скромно, почти без книг, вечно с грамматикой, то английской, то итальянской. Данте уже читаю, хотя, конечно, схватываю только общий смысл и лишь некоторые выражения. С Байроном (английским) дело обстоит хуже, хотя я не унываю. Я увлекся также верховой ездой, собственно, вольтижировкой, или подобием ее. Уже могу на рыси вскакивать в седло и соскакивать с него без помощи стремян. Добиваюсь делать то же на галопе, но пока неудачно. Мы с Олей устраиваем теннис и завтра выписываем мячи и ракеты. Таким образом хоть похудею. Молли наша дохаживает последние дни, и для нее уже поставлена в моей комнате корзина с сеном. Она так мила, что всех умиляет. Даже Александра Алексеевна сказала, что она самая симпатичная из наших зверей. Каждый вечер я хожу один по Акинихской дороге испытывать то, что ты называешь Божьей тоской. Как перед ней разлетаются все акмеистические хитросплетения. Мне кажется тогда, что во всей Вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби.

Я описал круг и возвращаюсь к эпохе «Романтических цветов» (вспомни Волчицу и Каракаллу), но занимательно то, что когда я думаю о моем ближайшем творчестве, оно по инерции представляется мне в просветленных тонах «Чужого неба». Кажется, земные наши роли переменятся, ты будешь акмеисткой, я мрачным символистом. Все же я надеюсь обойтись без надрыва.

Аничка милая, я тебя очень, очень и всегда люблю. Кланяйся всем, пиши. Целую.

Твой Коля.

Июнь 1912 года. Где в это время была Ахматова? Я попыталась вспомнить – кажется, она путешествовала по Италии, или, возможно, только что вернулась оттуда. Тогда понятно, почему в письме мелькают итальянские темы. В остальном же – обычное письмо любящего мужа беременной жене.

[9 апреля 1913]

Милая Аника, я уже в Одессе и в кафе почти заграничном. Напишу тебе, потом попробую писать стихи. Я совершенно выздоровел, даже горло прошло, но еще несколько устал, должно быть, с дороги. Зато уже нет прежних кошмаров; снился раз Вячеслав Иванов, желавший мне сделать какую-то гадость, но и во сне я счастливо вывернулся. В книжном магазине просмотрел «Жатву». Твои стихи очень хорошо выглядят, и забавна по тому, как сильно сбавлен тон, заметка Бориса Садовского.

Здесь я видел афишу, что Вера Инбер в пятницу прочтет лекцию о новом женском одеянии, или что-то в этом роде; тут и Бакст, и Дункан, и вся тяжелая артиллерия.

Я весь день вспоминаю твои строки о «приморской девчонке», они мало того что нравятся мне, они меня пьянят. Так просто сказано так много, и я совершенно убежден, что из всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нарбут окажетесь самыми значительными.

Милая Аня, я знаю, ты не любишь и не хочешь понять это, но мне не только радостно, а и прямо необходимо по мере того, как ты углубляешься для меня как женщина, укреплять и выдвигать в себе мужчину; я никогда бы не смог догадаться, что от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца, но ведь и ты никогда бы не смогла заняться исследованием страны Галла и понять, увидя луну, что она алмазный щит богини воинов Паллады.

Любопытно, что я сейчас опять такой же, как тогда, когда писались Жемчуга, и они мне ближе Чужого неба.

Маленький до сих пор был прекрасным спутником; верю, что так будет и дальше.

Целуй от меня Львеца (забавно, я первый раз пишу его имя) и учи его говорить папа. Пиши мне до 1 июня в Дире-Дауа (Dire-Daoua, Abyssinie. Afrique), до 15 июня в Джибути, до 15 июля в Порт-Саид, потом в Одессу.

Прошел еще год, а чувства, кажется, стали сильнее? Или Гумилев чувствует вину и так оправдывается, что оставил семью и вновь отправился в путешествие? К тому же легко заметить, что

в этом письме куда больше слов о поэзии, чем о быте, и этим оно сильно отличается от предыдущего.

[13 апреля 1913]

Милая Аника, представь себе, с Одессы ни одного стихотворения. Готье переводится вяло, дневник пишется лучше. Безумная зима сказывается, я отдыхаю как зверь. Никаких разговоров о литературе, о знакомых, море хорошее, прежнее. С нетерпеньем жду Африки. Учи Леву говорить и не скучай. Пиши мне, пусть я найду в Дире-Дауа много писем. И помечай их числами.

Горячо целую тебя и Леву; погладь Молли.

Всегда твой Коля.

[25 апреля 1913]

Дорогая моя Аника, я уже в Джибути, доехал и высадился прекрасно. Магический открытый лист уже сэкономил мне рублей пятьдесят и вообще оказывает ряд услуг. Мое нездоровье прошло совершенно, силы растут с каждым днем. Вчера я написал стихотворение, посылаю его тебе. Напиши в Дире-Дауа, что ты о нем думаешь. На пароходе попробовал однажды писать в стиле Гилеи, но не смог. Это подняло мое уважение к ней. Мой дневник идет успешно, и я пишу его так, чтобы прямо можно было печатать. В Джедде с парохода мы поймали акулу; это было действительно зрелище. Оно заняло две страницы дневника.

Что ты поделываешь? Право, уже в июне поезжай к Инне Эразмовне. Если не хватит денег, займи, по возвращении в Петербург у меня они будут. Присылай мне сюда твои новые стихи, непременно. Я хочу знать, какой ты стала. Леве скажи, у него будет свой негритенок. Пусть радуется. С нами едет турецкий консул, назначенный в Харрар. Я с ним очень подружился, он будет собирать для меня абиссинские песни, и мы у него остановимся в Харраре. Со здешним вице-консулом Галебом, с которым, помнишь, я ссорился, я окончательно помирился, и он оказал мне ряд важных услуг.

Целую тебя и Левика.

Твой Коля.

[10 июля 1914]

Милая Аничка, думал получить твое письмо на Царск. Вок., но не получил. Что, ты забыла меня или тебя уже нет в Деражне? Мне страшно надоела Либава, и вот я в Териоках. Здесь поблизости Чуковский, Евреинов, Кульбин, Лозинский, но у последнего не сегодня завтра рождается ребенок. Есть театр, в

театре Гибшман, Сладкопевцев, Л.Д. Блок, директор театра Мгебров (офицер).

У Чуковского я просидел целый день; он читал мне кусок своей будущей статьи об акмеизме, очень мило и благожелательно. Но ведь это только кусок, и конечно, собака зарыта не в нем! Вчера беседовал с Маковским, долго и бурно. Мы то чуть не целовались, то чуть не дрались. Кажется, однако, что он будет стараться устроить беллетристический отдел и еще разные улучшения. Просил сроку до начала августа. Увидим! Я пишу новое письмо о русской поэзии – Кузмин, Бальмонт, Бородаевскнй, может быть, кто-нибудь еще. Потом статью об африканском искусстве. Пру бросил. Жду, что запишу стихи.

Меланхолия моя, кажется, проходит. Пиши мне, милая Аничка, по адресу Териоки (Финляндия), кофейня «Идеал», мне. В этой кофейне за рубль в день я снял комнату, правда, не плохую.

Значит, жду письма, а пока горячо целую тебя.

Твой Коля.

Целую ручки Инне Эразмовне.

И вновь стихи, стихи, стихи – письма Гумилева написаны гораздо нежнее, чем письма Ахматовой, но к 1914 году основной темой в них стала поэзия. Похоже, я поторопилась с выводами по двум письмам Ахматовой. Летом 1914 года Гумилев писал ей так же, как и она ему – без особой страсти, дружески, о том, что их обоих интересует, но не более.

[17 июля 1914. СПб.]

Милая Аничка, может быть, я приеду одновременно с этим письмом, может быть, на день позже. Телеграфирую, когда высылать лошадей. Время я провел очень хорошо, музицировал с Мандельштамом, манифестировал с Городецким, а один написал рассказ и теперь продаю его. Целую всех. Очень скоро увидимся.

Твой Коля.

[До 6 сент. 1914. Кречевицкие казармы под Новгородом]

Дорогая Аничка (прости за кривой почерк, только что работал пикой на коне – это утомительно), поздравляю тебя с победой. Как я могу рассчитать, она имеет громадное значение, и, может быть, мы Новый Год встретим как прежде в Собаке. У меня вестовой, очень расторопный, и, кажется, удастся закрепить за собой коня, высокого, вороного, зовущегося Чернозем. Мы оба здоровы, но ужасно скучаем. Ученье бывает два раза в день часа по полтора, по

два, остальное время совершенно свободно. Но невозможно чем-нибудь заняться, т. е. писать, потому что от гостей (вольноопределяющихся и охотников) нет отбою. Самовар не сходит со стола, наши шахматы заняты двадцать четыре часа в сутки, хотя люди в большинстве случаев милые, но все же это уныло.

Только сегодня мы решили запираться на крючок, не знаю, поможет ли. Впрочем, нашу скуку разделяют все и мечтают о походе, как о царствии небесном. Я уже чувствую осень и очень хочу писать. Не знаю, смогу ли.

Крепко целую тебя, маму и Леву и всех.

Твой Коля.

[Около 10 октября 1914 г., Россиены]

Дорогая моя Аничка, я уже в настоящей армии, но мы пока не сражаемся и когда начнем, неизвестно. Все-то приходится ждать, теперь, однако, уже с винтовкой в руках и отпущенной шашкой. И я начинаю чувствовать, что я подходящий муж для женщины, которая «собирала французские пули, как мы собирали грибы и чернику». Эта цитата заставляет меня напомнить тебе о твоем обещании быстро дописать твою поэму и придать ее мне. Право, я по ней скучаю. Я написал стишок, посылаю его тебе, хочешь продай, хочешь читай кому-нибудь. Я здесь утерял критические способности и не знаю, хорош он или плох.

Пиши мне в 1-ю действ. армию, в мой полк, эскадрон Ее Величества. Письма, оказывается, доходят очень и очень аккуратно.

Я все здоровею и здоровею: все время на свежем воздухе (а погода прекрасная, тепло), скачу верхом, а по ночам сплю как убитый.

Раненых привозят не мало, и раны все какие-то странные: ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги. Под одним нашим уланом пуля пробила седло как раз в тот миг, когда он приподнимался на рыси; секунда до или после, и его бы ранило.

Сейчас случайно мы стоим в таком месте, откуда легко писать. Но скоро, должно быть, начнем переходить, и тогда писать будет труднее. Но вам совершенно не надо беспокоиться, если обо мне не будет известий. Трое вольноопределяющихся знают твой адрес и, если со мной что-нибудь случится, напишут тебе немедленно. Так что отсутствие писем будет обозначать только то, что я в походе, здоров, но негде и некогда писать. Конечно, когда будет возможно, я писать буду.

Целую тебя, моя дорогая Аничка, а также маму, Леву и всех.

Напишите Коле маленькому, что после первого боя я ему напишу.

Твой Коля.

6 июля 1915. Заболотце

Дорогая моя Аничка, наконец-то и от тебя письмо, но, очевидно, второе (с сологубовским), первого пока нет. А я уж послал тебе несколько упреков, прости меня за них. Я тебе писал, что мы на новом фронте. Мы были в резерве, но дня четыре тому назад перед нами потеснили армейскую дивизию и мы пошли поправлять дело. Вчера с этим покончили, кое-где выбили неприятеля и теперь опять отошли валяться на сене и есть вишни. С австрийцами много легче воевать, чем с немцами. Они отвратительно стреляют. Вчера мы хохотали от души, видя, как они обстреливали наш аэроплан. Снаряды рвались по крайней мере верст за пять от него. Сейчас война приятная, огорчают только пыль во время переходов и дожди, когда лежишь в цепи. Но то и другое бывает редко. Здоровье мое отлично.

Ну и задала же ты мне работу с письмом Сологубу. Ты так трогательно умоляла меня не писать ему кисло, что я трепетал за каждое мое слово – мало ли что могло причудиться в нем старику. Однако все же сочинил и посылаю тебе копию. Лучше, правда, не мог, на войне тупеешь.

Письмо его меня порадовало, хотя я не знаю, для чего он его написал. А уж наверно для чего-нибудь! Впрочем, я думаю, что оно достаточная компенсация за его поступки по отношению лично ко мне, хотя желанье «держаться подальше от акмеистов» до сих пор им не искуплено.

Что же ты мне не прислала новых стихов? У меня кроме Гомера ни одной стихотворной книги, и твои новые стихи для меня была бы такая радость. Я целые дни повторяю «где она, где свет веселый серых звезд ее очей» и думаю при этом о тебе, честное слово.

Сам я ничего не пишу – лето, война и негде, хаты маленькие и полны мух.

Целуй Львенка, я о нем часто вспоминаю и очень люблю.

В конце сентября постараюсь опять приехать, может быть, буду издавать «Колчан». Только будет ли бумага, вот вопрос.

Целую тебя, моя дорогая, целуй маму и всех.

Да, пожалуйста, напишите мне, куда писать Мите и Коле маленькому. Я забыл номер Березинского полка.

Твой всегда Коля.

16 июля [1915. Лушков]

Дорогая Аничка, пишу тебе и не знаю, в Слепневе ли ты или уже уехала. Когда поедешь, пиши мне с дороги, мне очень интересно, где ты и что делаешь.

Мы все воюем, хотя теперь и не так ожесточенно. За 6-е и 7-е наша дивизия потеряла до 300 человек при 8 офицерах, и нас перевели верст за пятнадцать в сторону. Здесь тоже беспрерывные бои, но много пехоты и мы то в резерве у нее, то занимаем полевые караулы и т. д.

Здесь каждый день берут по нескольку сот пленных, все германцев, а уж убивают без счету, здесь отличная артиллерия и много снарядов. Солдаты озверели и дерутся прекрасно.

По временам к нам попадают газеты, все больше «Киевская Мысль», и не очень поздняя, сегодня, например, от 14-го.

Погода у нас неприятная: дни жаркие, ночи холодные, по временам проливные дожди. Да и работы много – вот уж 16 дней ни одной ночи не спали полностью, все урывками. Но, конечно, несравнимо с зимой.

Я все читаю «Илиаду»: удивительно подходящее чтенье. У ахеян тоже были и окопы, и загражденья, и разведка. А некоторые описанья, сравненья и замечанья сделали бы честь любому модернисту. Нет, не прав был Анненский, говоря, что Гомер как поэт умер.

Помнишь, Аничка, ты была у жены полковника Маслова, его только что сделали флигель-адъютантом.

Целую тебя, моя Аня, целуй маму, Леву и всех; погладь Молли.

Твой всегда Коля.

Курры и гуси!

25 июля 1915.

[Столенские Столяры]

Дорогая Аничка, сейчас получил твое и мамино письмо от 16-го, спасибо, что вы мне так часто пишете. Письма идут, оказывается, десять дней. На твоем письме есть штемпель «просм. военной цензурой».

У нас уже несколько дней все тихо, никаких боев нет. Правда, мы отошли, но немец мнется на месте и боится идти за нами.

Ты знаешь, я не шовинист. И однако я считаю, что сейчас, несмотря на все отходы, наше положенье ничем не хуже, чем в любой из прежних моментов войны. Мне кажется, я начинаю понимать, в чем дело, и больше чем когда-либо верю в победу.

У нас не жарко, изредка легкие дожди, в общем, приятно. Живем мы сейчас на сеновале и в саду, в хаты не хочется заходить, душно и грязно. Молока много, живности тоже, беженцы продают

очень дешево. Я каждый день ем то курицу, то гуся, то поросенка, понятно, все вареное. Папирос, увы, нет и купить негде. Ближайший город верст за восемь – десять. Нам прислали махорки, но нет бумаги. Это грустно.

Стихи твои, Аничка, очень хороши, особенно первое, хотя в нем есть неверно взятые ноты, напр. стр. 5-я и вся вторая строфа; зато последняя строфа великолепна; только описка? «Голос Музы еле слышный…» Конечно, «ясно или внятно слышный» надо было сказать. А еще лучше «так далеко слышный».

Второе стихотворенье или милый пустячок (размер его чет. хорей говорит за это), или неясно. Вряд ли героине поручалось беречь душу от Архангела. И тогда 9-я и 10-я строчки возбуждают недоуменье.

В первом стихотворении очень хороша (что ново для тебя) композиция. Это мне доказывает, что ты не только лучшая русская поэтесса, но и просто крупный поэт.

Пожалуйста, не уезжай, не оставив твоего точного адреса в Слепневе, потому что я могу приехать неожиданно и хочу знать, где тебя найти. Тогда я с дороги запрошу телеграммой «где Аня?», и тогда ответьте мне телеграммой же в Петербург, Николаевский вокзал, до востребованья, твой адрес.

Целую тебя, маму, Леву.

Пожалуйста, скучай как можно меньше и уж вовсе не хворай.

Маме я писал 10-го.

Получила ли она?

Твой всегда Коля.

Письма военных лет произвели на меня сильное впечатление, и я поняла, что имел в виду Андрей, когда говорил, что читая их, он не мог поверить во взаимные измены Ахматовой и Гумилева, их быстрый развод в 1918 году и вообще во все скандалы, с ними связанные. Это письма, может быть, не очень счастливого человека, но любящего и преданного – без сомнения. И действительно, есть в них какая-то внутренняя сила, ощущающаяся, даже когда Гумилев пишет о совершенных пустяках. Кажется, что за этими простыми фразами скрывается нечто большее – какие-то чувства и эмоции, которые он не хочет передавать словами, но которые все равно не может скрыть.

1 октября 1916

Дорогая моя Анечка, больше двух недель от тебя нет писем – забыла меня. Я скромно держу экзамены, со времени последнего письма выдержал еще три; остаются еще только четыре (из 15-ти), но среди них артиллерия – увы! Сейчас готовлю именно ее.

Какие-то шансы выдержать у меня все-таки есть.

Лозинский сбрил бороду, вчера я был с ним у Шилейки – пили чай и читали Гомера. Адамович с Г. Ивановым решили устроить новый цех, пригласили меня. Первое заседание провалилось, второе едва будет.

Я ничего не пишу (если не считать двух рецензий для Биржи), после экзаменов буду писать (говорят, мы просидим еще месяца два). Слонимская на зиму остается в Крыму, марионеток не будет. После экзаменов попрошусь в отпуск на неделю и, если пустят, приеду к тебе. Только пустят ли? Поблагодари Андрея за письмо. Он пишет, что у вас появилась тенденция меня идеализировать. Что это так вдруг?

Целую тебя, моя Анечка, кланяйся всем,

твой Коля.

Verte
Вексель я протестовал, не знаю, что делать дальше.
Адрес Е. И. неизвестен.

Письмо от 1 октября 1916 года порадовало тем, что прояснило вопрос насчет того, как часто Ахматова писала Гумилеву. Если он жалуется, что от нее нет писем уже больше двух недель, значит, хотя бы раз в две недели она ему писала. А учитывая, сколько он отсутствовал, существовали сотни писем Ахматовой. Интересно, что с ними стало? Имел Гумилев привычку сохранять переписку или нет? А если имел, то что стало с его архивом?

Но тут я вспомнила о его трагической судьбе, и надежда на то, что мне когда-нибудь удастся прочитать письма молодой Ахматовой и понять, наконец, что она чувствовала к Гумилеву, тут же рассеялась. Скорее всего, он сам уничтожил свой архив перед арестом, как делали довольно многие. Остается, правда, небольшой шанс, что все бумаги попали в НКВД и лет через сто будут рассекречены. И еще меньший, что Гумилев перед арестом также передал свой архив кому-нибудь из друзей, и тогда письма когда-нибудь еще «всплывут».

[около 20 июня 1917]

Дорогая Анечка, привет из Лондона, мой, Анрепа, Вадима Гарднера и Бехгофера. Не правда ли, букет имен. Расскажу о всех по порядку. Я живу отлично, каждый день вижу кого-нибудь интересного, веселюсь, пишу стихи, устанавливаю литературные связи. Кстати, Курнос просто безызвестный графоман, но есть другие хорошие переводчики, которые займутся русской поэзией.

Анреп занимает видное место в комитете и очень много возится со мной. Устраивает мне знакомства, возит по обедам, вечерам. О тебе вспоминает, но не со мной. Так, леди Моррель, дама-патронесса, у которой я провел день под Оксфордом, спрашивала, не моя ли жена та интересная, очаровательная и талантливая поэтесса, о которой ей так много говорил Анреп. Семья его в деревне, а он или на службе, или в кафе. Вадим Гарднер, который тоже в India House, проводит время исключительно в обществе третьеразрядных кокоток и презирает Лондон и все английское – этакий Верлен. Бехгофер (англичанин из Собаки) пригласил меня остановиться у него. Он тоже в India, недурно говорит по-русски и знакомит меня с поэтами. Но все в один голос говорят, что хороших сейчас нет и у большинства обостренные отношения. Сегодня я буду на вечере у Йейтса, английского Вячеслава. Мне обещали также устроить встречу с Честертоном, которому, оказывается, за сорок и у которого около двадцати книг. Его здесь или очень любят, или очень ненавидят – но все считаются. Он пишет также и стихи, совсем хорошие. Думаю устроить, чтобы гиперборейские издания печатались после войны в Лондоне, это будет много лучше и даже дешевле. Здесь книга прозы, 300 стр. 1000 экз. на плотной бумаге и в переплете, стоила еще совсем недавно 500 р. Ну, целую тебя и посылаю кучу стихов, если хочешь, дай их Маме, пусть печатает.

Твой всегда Коля.

[1917. Париж]

Дорогая Аничка, ты, конечно, сердишься, что я так долго не писал тебе, но я нарочно ждал, чтобы решилась моя судьба. Сейчас она решена. Я остаюсь в Париже в распоряжении здешнего наместника от Временного Правительства, т. е. вроде Анрепа, только на более интересной и живой работе. Меня, наверно, будут употреблять для разбора разных солдатских дел и недоразумений. Через месяц, наверно, выяснится, насколько мое положение здесь прочно. Тогда можно будет подумать и о твоем приезде сюда, конечно, если ты сама его захочешь. А пока я еще не знаю, как велико будет здесь мое жалованье. Но положение во всяком случае исключительное и открывающее при удаче большие горизонты.

Я по-прежнему постоянно с Гончаровой и Ларионовым, люблю их очень. Теперь дело: они хотят ехать в Россию, уже послали свои опросные листы, но все это очень медленно. Если у тебя есть кто-нибудь под рукой из Мин. иностр. дел, устрой, чтобы он нашел их бумаги и телеграфировал сюда в Консульство, чтобы им выдали поскорее паспорта. Их дело совершенно в порядке, надо только его ускорить.

Я здоров и доволен своей судьбой. Дня через два завожу постоянную комнату и тогда напишу адрес. Писать много не приходилось, все бегал по разным делам.

Здесь сейчас Аничков, Минский, Мещерский (помнишь, бывал у Судейкиных). Приезжал из Рима Трубников.

Целуй, пожалуйста, маму, Леву и всех. Целую тебя.

Всегда твой Коля.

Когда Ларионов поедет в Россию, пришлю с ним тебе всякой всячины из Galerie Lafayette.

И дальше приписка рукой Ахматовой:

Милая Мама, только что получила твою открытку от 3 ноября. Посылаю тебе Колино последнее письмо. Не сердись на меня за молчание, мне очень тяжело теперь. Получила ли ты мое письмо?

Целую тебя и Леву.

Твоя Аня

Последние два письма написаны в 1917 году, между Февральской и Октябрьской революциями. Меньше чем за год до развода Ахматовой и Гумилева. Он собирается вызвать ее к себе за границу, а что она? Если бы были ее письма того периода… А так остается только гадать.

– Как ты думаешь, Ахматова к тому времени уже разлюбила его или нет?

Я вздрогнула. Андрей словно бы прочитал мои мысли. Или мы вновь, как и раньше, синхронно подумали об одном и том же?

– Я не уверена, что она его вообще когда-нибудь разлюбила. И в то же время не уверена, что она его вообще когда-нибудь любила. По крайней мере в том смысле, какой обычно в это вкладывают.

– А он?

Я положила письма в папку и развела руками.

– Если бы я знала! Что можно сказать о человеке по нескольким письмам? Но мне кажется, что для него желание Ахматовой подать на развод должно было стать ударом. Вне зависимости от глубины его чувств. Помнишь, она говорила, что их все к тому времени привыкли видеть порознь? И письма это подтверждают – с 1913 года Гумилев то и дело в отъезде, причем все время где-то далеко, то есть отсутствует месяцами.

Андрей нахмурился.

– Не совсем пойму, к чему ты клонишь.

– Они живут порознь, видятся редко, знают друг о друге в

основном из писем. И уж, конечно, не знают о каких-то увлечениях друг друга, ведь о таком не пишут. Поэтому у них должен был сложиться не совсем точный образ друг друга, возможно несколько идеализированный. В разлуке ведь недостатки забываются. А потом, представь себе, Гумилев приезжает, уверенный, что все по-прежнему, а Ахматова ему сообщает, что хочет развода.

Он помолчал, а потом вдруг неожиданно сказал:

– Как ты мне.

Я в первую секунду даже не нашлась что сказать и с трудом удержалась от желания тут же треснуть его по голове папкой, которую держала в руках. К счастью, выдержки хватило, чтобы не скатиться до скандала, и я процедила сквозь зубы:

– Не передергивай! Ахматова собиралась выйти замуж за другого. А я тебя застукала с любовницей. Кажется, у меня тоже было о тебе идеализированное представление.

Андрей явно хотел что-то ответить и уже даже открыл рот, но вместо этого сделал глубокий вздох, встал и молча вышел. Дверью, правда, хлопнуть не забыл, но все равно я так изумилась, что даже почти перестала злиться. Никогда он так себя не вел, доказать свою правоту было для него делом чести, а уж оставить за собой последнее слово – и вовсе жизненным принципом.

* * *

Несмотря ни на что, я упрямо решила дочитать сегодня переписку Ахматовой и взялась за следующее письмо.

Дорогая Марина Ивановна,

Марина? Я повертела пачку и нашла пометку – переписка с Цветаевой. Сразу вспомнилось, как уклончиво Ахматова рассказывала об их знакомстве. Хотелось бы понять, что она скрывала, но особых надежд я на это не питала – писем, к сожалению, было мало, некоторые даже без дат, поэтому я догадывалась, что это лишь малая часть переписки. К тому же еще во время чтения переписки с Гумилевым у меня сложилось стойкое впечатление, что самое важное осталось в тех письмах, которых нет в архиве.

Но сгорели они или где-то спрятаны, мне до них все равно не добраться, поэтому я оставила бесполезные сожаления и продолжила читать то, что есть.

Дорогая Марина Ивановна,

благодарю Вас за добрую память обо мне и за иконки. Ваше письмо застало меня в минуту величайшей усталости, так что мне трудно собраться с мыслями, чтобы подробно ответить Вам. Скажу только, что за эти долгие годы я потеряла всех родных, а Левушка после моего развода остался в семье своего отца.

Книга моих последних стихов выходит на днях, я пришлю ее Вам и Вашей чудесной Але. О земных же моих делах не знаю, право, что и сказать. Вероятно, мне «плохо», но я совсем не вижу, отчего бы мне могло быть «хорошо».

То, что Вы пишете о себе, и страшно и весело.

Желаю Вам и дальше дружбы с Музой и бодрости духа, и, хотите, будем надеяться, что мы все-таки когда-нибудь встретимся.

Целую Вас.

Ваша Ахматова

Дорогая Марина Ивановна,

меня давно так не печалила аграфия, которой я страдаю уже много лет, как сегодня, когда мне хочется поговорить с Вами. Я не пишу никогда и никому, но Ваше доброе отношение мне бесконечно дорого. Спасибо Вам за него и за посвящение поэмы. До 1 июля я в Петербурге. Мечтаю прочитать Ваши новые стихи. Целую Вас и Алю.

Ваша Ахматова

Аграфия? Расстройство письма – сложности с изложением мыслей письменно, на бумаге. Ну конечно! Настоящая у Ахматовой была аграфия или она просто прикрывала ею свое неумение писать письма (видимо, развившееся с возрастом, ведь в юности она писала их вполне бойко), в любом случае это многое объясняло. Ее письма к Цветаевой были такие же короткие и суховатые, как и письма к Гумилеву, хотя, конечно, куда менее личные.

Цветаева, несомненно, лучше владела эпистолярным жанром – ее письма были куда длиннее, подробнее и эмоциональнее. В основном они были датированы 1921 годом – видимо, перед отъездом Цветаевой в эмиграцию.

Москва, 26-го русского апреля 1921 г.

Дорогая Анна Андреевна!

Так много нужно сказать – и так мало времени! Спасибо за очередное счастье в моей жизни – «Подорожник». Не расстаюсь, и

Аля не расстается. Посылаю Вам обе книжечки, надпишите.

Не думайте, что я ищу автографов, – сколько надписанных книг я раздарила! – ничего не ценю и ничего не храню, а Ваши книжечки в гроб возьму – под подушку!

Еще просьба: если Алконост возьмет моего «Красного Коня» (посвящается Вам) – и мне нельзя будет самой держать корректуру, – сделайте это за меня, верю в Вашу точность.

Вещь совсем маленькая, это у Вас не отнимет времени.

Готовлю еще книжечку: «Современникам» – стихи Вам, Блоку и Волконскому. Всего двадцать четыре стихотворения. Среди написанных Вам есть для Вас новые.

Ах, как я Вас люблю, и как я Вам радуюсь, и как мне больно за Вас, и высóко от Вас! – Если были бы журналы, какую бы я статью о Вас написала – Журналы – статью – смеюсь! – Небесный пожар!

Вы мой самый любимый поэт, я когда-то – давным-давно – лет шесть тому назад – видела Вас во сне, – Вашу будущую книгу: темно-зеленую, сафьяновую, с серебром – «Словеса злотые», – какое-то древнее колдовство, вроде молитвы (вернее – обратное!) – и – проснувшись – я знала, что Вы ее напишете.

Мне так жалко, что все это только слова – любовь – я так не могу, я бы хотела настоящего костра, на котором бы меня сожгли.

Я понимаю каждое Ваше слово: весь полет, всю тяжесть. «И шпор твоих легонький звон» – это нежнее всего, что сказано о любви.

И это внезапное – дико встающее – зрительно дикое «ярославец». – Какая Русь!

Напишу Вам о книге еще.

Как я рада им всем трем – таким беззащитным и маленьким! «Четки» – «Белая стая» – «Подорожник». Какая легкая ноша – с собой! Почти что горстка пепла.

Пусть Блок (если он повезет рукопись) покажет Вам моего «Красного Коня». (Красный, как на иконах). – И непременно напишите мне, – больше, чем тогда! Я ненасытна на Вашу душу и буквы.

Целую Вас нежно, моя страстнейшая мечта – поехать в Петербург. Пишите о своих ближайших судьбах, – где будете летом, и все.

Ваши оба письмеца ко мне и к Але – всегда со мной.

М.Ц.

31-го русского августа 1921 г.

Дорогая Анна Андреевна! Все эти дни о Вас ходили мрачные слухи, с каждым часом упорнее и неопровержимей. Пишу Вам об

этом, потому что знаю, что до Вас все равно дойдет – хочу, чтобы по крайней мере дошло верно. Скажу Вам, что единственным – с моего ведома – Вашим другом (друг – действие!) – среди поэтов оказался Маяковский, с видом убитого быка бродивший по картонажу «Кафе Поэтов».

Убитый горем – у него, правда, был такой вид. Он же и дал через знакомых телеграмму с запросом о Вас, и ему я обязана второй нестерпимейшей радостью своей жизни (первая – весть о Сереже, о котором я ничего не знала два года). Об остальных (поэтах) не буду рассказывать – не потому, что это бы Вас огорчило: кто они, чтобы это могло Вас огорчить? – просто не хочется тупить пера.

Эти дни я – в надежде узнать о Вас – провела в «Кафе поэтов» – что за убожества! что за ублюдки! Тут все: и гомункулусы, и автоматы, и ржущие кони, и ялтинские проводники с накрашенными губами.

Вчера было состязание: лавр – титул соревнователя в действительные члены Союза. Общих два русла: Надсон и Маяковский. Отказались бы и Надсон и Маяковский. Тут были и розы, и слезы, и пианисты, играющие в четыре ноги по клавишам мостовой… и монотонный тон кукушки (так начинается один стих!), и поэма о японской девушке, которую я любил (тема Бальмонта, исполнение Северянина) —

Это было у моря,
Где цветут анемоны…

И весь зал хором:

Где встречается редко
Городской экипаж…

Но самое нестерпимое и безнадежное было то, что больше всего ржавшие и гикавшие – сами такие же, – со вчерашнего состояния.

Вся разница, что они уже поняли немодность Северянина, заменили его (худшим!) Шершеневичем.

На эстраде – Бобров, Аксенов, Арго, Грузинов. – Поэты. И – просто шантанные номера…

Я, на блокноте, Аксенову: «Господин Аксенов, ради Бога, – достоверность об Ахматовой». (Был слух, что он видел Маяковского.) «Боюсь, что не досижу до конца состязания».

И учащенный кивок Аксенова. Значит – жива.

Дорогая Анна Андреевна, чтобы понять этот мой вчерашний вечер, этот аксеновский – мне – кивок, нужно было бы знать три моих предыдущих дня – несказанных. Страшный сон: хочу проснуться – и не могу. Я ко всем подходила в упор, вымаливала Вашу жизнь. Еще бы немножко – я бы словами сказала: «Господа, сделайте так, чтобы Ахматова была жива!..» Утешила меня Аля: «Марина! У нее же – сын!»

Вчера после окончания вечера просила у Боброва командировку: к Ахматовой. Вокруг смеются. «Господа! я вам десять вечеров подряд буду читать бесплатно – и у меня всегда полный зал!»

Эти три дня (без Вас) для меня Петербурга уже не существовало, – да что Петербурга… Вчерашний вечер – чудо: «Стала облаком в славе лучей».

На днях буду читать о Вас – в первый раз в жизни: питаю отвращение к докладам, но не могу уступить этой чести другому! Впрочем, все, что я имею сказать, – осанна!

Кончаю – как Аля кончает письма к отцу:

Целую и низко кланяюсь.

М.Ц.

Bellevue, 12-го ноября 1926 г.

Дорогая Анна Андреевна,

Пишу Вам по радостному поводу Вашего приезда – чтобы сказать Вам, что все, в беспредельности доброй воли – моей и многих – здесь, на месте, будет сделано.

Хочу знать, одна ли Вы едете или с семьей (мать, сын). Но как бы Вы ни ехали, езжайте смело. Не скажу сейчас в подробностях Вашего здешнего устройства, но обеспечиваю Вам наличность всех.

Еще одно: делать Вы все будете как Вы хотите, никто ничего Вам навязывать не будет, а захотят – не смогут: не навязали же мне!

Переборите «аграфию» (слово из какой-то Вашей записочки) и напишите мне тотчас же: когда – одна или с семьей – решение или мечта.

Знайте, что буду встречать Вас на вокзале.

Целую и люблю – вот уже 10 лет (Лето 1916 г., Александровская слобода, на войну уходил эшелон).

Знаете ли Вы, что у меня сын 1 г. и 9 мес. – Георгий? А маленькая Аля почти с меня? (13 л.).

Ад: Bellevue (Seine et Oise)

Pres Paris, 31, Boulevard Verdun.

Отвечайте сразу. А адрес перепишите на стенку, чтобы не потерять.

Немного странно было видеть, как она называет Ленинград Петербургом, но разумеется, главное в письмах было не это. Меня немного поразил их тон – вот вроде бы Цветаева пишет о том же самом, о чем и вся остальная переписка Ахматовой. Поэзия, дела житейские и снова поэзия. Но если Ахматова во всех письмах, кроме адресованных Блоку, писала только о себе и своих стихах, то Цветаева писала о ней и о ее стихах. Причем так восторженно и эмоционально, как сама Ахматова отзывалась разве что о Пушкине. Так что же произошло во время личной встречи между двумя поэтессами?.. То есть поэтами – они обе обиделись бы на «поэтесс».

Судя по тому, что рассказывала Ахматова, в 1926 году они не встретились и впервые поговорили только после возвращения Цветаевой из эмиграции, а это было уже в 30-е. И что-то в этом разговоре пошло не так.

А если… Я вновь перебрала в уме ход собственных мыслей и остановилась на сравнении писем Ахматовой к Блоку и писем Цветаевой к ней. Когда-то я предположила, что Блок намеренно держался подальше от Ахматовой, чтобы не попасть под ее влияние. Не чувствовала ли и она чего-то подобного по отношению к Цветаевой? Их постоянно сравнивают, и я уверена, сравнивали и тогда. Две женщины на поэтическом Олимпе, да еще и почти одновременно – их имена не могли не называть рядом, причем постоянно.

Возможно, Цветаеву это не слишком беспокоило – я знаю о ней слишком мало, чтобы делать какие-то выводы. Но Ахматову, с ее обостренным самолюбием, их постоянное сравнение обязательно должно было раздражать. Наверняка она в глубине души боялась проиграть, оказаться второй. А если при их личной встрече она что-то подобное и ощутила? Почувствовала себя второй. Это должно было стать для нее страшным ударом.

Глава 9

На конференции я продолжала размышлять об Ахматовой и о том, что узнала из ее переписки. Благо первый день был, как обычно, посвящен организационным вопросам и партийным темам. Кто-то выступал, кого-то осуждал, к чему-то призывал, а остальные дружно аплодировали и, судя по лицам, как и я, думали о собственных делах.

Кстати, я поймала себя на том, что в размышлениях стала примерять на себя какие-то события из жизни Ахматовой, и мне показалось, что теперь я многое о ней понимаю лучше, чем прежде. Частично благодаря письмам, а частично, видимо, из-за того, что пережила развод. Теперь я смогла даже прочувствовать то, что раньше вывела при помощи логических размышлений – и прежде всего ее болезненное нежелание быть «одной из».

Об этом же я размышляла и когда возвращалась домой после первого дня конференции. Гордым вообще нелегко живется, а Ахматова не просто горда, она уверена в собственной исключительности. И если мне, положа руку на сердце, обычной все-таки женщине, трудно осознавать, что для мужа я была «одной из», которую можно сменить на другую, то ее, поэта с такой гордыней, подобная мысль должна приводить в бешенство.

Но тогда я опять возвращалась к вопросу о том, насколько можно верить ее рассказам и даже переписке. Ведь если это так, то для нее жизненно необходимо убедить всех, что ее отношения как с Гумилевым, так и с Блоком, и с Модильяни, и с кем-либо еще были особенными и что она занимала в их жизни какое-то такое место, какое не занимала ни одна другая женщина.

Андрея дома не оказалось, я нашла только записку, что он будет поздно – много дел в редакции. На самом деле или он просто не хотел видеть меня? Что ж, я была даже рада тому, что его нет – вчерашний разговор немного вывел меня из равновесия. Если бы не переписка Ахматовой, я бы наверняка только и думала о том, зачем Андрей это сказал да что он имел в виду… бессмысленные размышления, я как психиатр хорошо знала, что от них только вред и расстроенные нервы.

Я решительно прогнала ненужные мысли, взяла папку с архивом Ахматовой и по старой привычке забралась с ногами на диван, удобно подоткнув под локоть подушку. В папке оставались лишь одна стопка писем и черновики каких-то заявлений. Развернув несколько писем, я поняла, что это переписка Ахматовой с ее третьим мужем, о котором я только слышала, что он был и что его, кажется, арестовали. Хотя это ведь вроде бы

можно было сказать обо всех мужьях Ахматовой. Она таких людей выбирала, или наоборот, именно она приносила им несчастья?

Я покачала головой. Что за романтические глупости лезут мне в голову? В тех кругах, в которых вращается Ахматова, арестовывали очень многих, так что никакого совпадения, просто такова жизнь.

Первое письмо (точнее, это была обычная записка) было датировано сентябрем 1922 года и не содержало ничего интересного, если не считать того, что написано оно было как-то очень лично. Причем, чтобы понять это, надо было уже знать эпистолярный стиль Ахматовой и ее манеру писать коротко и сухо.

Милый Николай Николаевич,

если сегодня вечером Вы свободны, то с Вашей стороны будет бесконечно мило посетить нас. До свидания.

Ахматова.

Приходите часов в 8–9.

Следующие несколько писем были написаны ее мужем, и их пылкость меня даже несколько смутила. 1922 год – кажется, именно тогда она рассталась со вторым мужем, прожив с ним даже меньше, чем с Гумилевым. И вот новый брак и новая страсть – по крайней мере со стороны мужа.

19. X.22

Друг мой дорогой, Анна, ты сама знаешь, как пусто стало, как только ты ушла, – я не стал бороться с сентиментальным желанием тебе писать. Люблю тебя, родная, люблю тебя. Какая странная и ровная пустота там, где ты еще час тому назад наполняла все комнаты и меняла размеры всех вещей; мне всегда стыдно напоминать о себе, но я дорожу тем, что говоришь о чем-нибудь моем; так и сегодня, хотелось, чтобы ты все видела, все заметила и все запомнила, а я только мог едва-едва поцеловать твои руки. Ты так плохо выглядела под конец, я не могу, мне физически больно, когда ты так больна и когда у тебя что-нибудь болит; я смотрел, как ты ешь яблоко, на твои пальцы, и по ним мне казалось, что тебе больно; какое невозможное желание сейчас во мне: их поцеловать, их целовать это уже не любовь, Анна, не счастье, а начинается страдание, не могу без тебя и в горле чувствую: где ты сейчас, друг, друг мой. Как ты под конец сегодня плохо выглядела; не надо так, Анна.

Наш страшный вчерашний разговор очень сильно изменил

характер или окраску, что ли, моей любви к тебе. Она стала тревожной и мрачной, какой раньше не была;

я чувствую ее теперь в сердце почти постоянно, в форме какой-то глубокой тоски, все равно думаю я о тебе или не думаю и как думаю. Чувствуешь ли ты то же самое? Что произошло? Почему все стало таким трагичным, как будто ты еще куда-то ушла – и стала так близко к моей, совсем рядом, и в душу мою вошла.

<…>

Друг мой дорогой, как я хочу тебя видеть, как я все помню, что ты была сегодня здесь.

Словно память о том, что в каких-то далеких веках мы прошли здесь с тобою.

Следующие несколько писем были такие же пылкие и страстные, но меня смутило, что нет ни одного ответного, а ведь меня интересовала сама Ахматова, а не ее муж. Наконец я обнаружила и ее письмо, написанное в 1924 году.

27 июня 1924 г. С. П. Б.

Милый Николай Николаевич, как мне досадно, что я не могу побывать этим летом в Киеве. О. А. все еще лежит, изд-во все еще не платит ни гроша. А лето каждый день грозит кончиться!

Был у меня К.С. Петров-Водкин, прощался, сейчас он уже на пути в Париж. Я позирую Наталье, читаю Библию и Грабаря и жду возвращения милых друзей. Как Вы отдыхали, что Киев? и когда домой?

Ваш Олень.

Конечно, никто не приехал.

В театре от невыносимой трескотни у меня сделалась мигрень, так что я до сих пор лежу в постели («в холодной комнате» и т. д.).

Впрочем, комната не холодная, печка топится и даже дымит. Спасибо за письмо. Вы, оказывается, умеете писать, как нежнейший из ангелов, как я рада, что Вы существуете. До завтра.

Анна.

А за границу все-таки ехать надо. Не упрямьтесь, все равно заставлю.

И вновь Ахматова в своем стиле – о себе, о стихах, немного вопросов, и все. Но после ее переписки с Гумилевым это меня не удивляло. В то время она выпустила несколько поэтических

сборников, выплескивая свои чувства в стихах, вполне вероятно, что и в 20-е годы она написала немало стихов. Я попыталась вспомнить, что она сама рассказывала об этом времени. Да, точно, она говорила, что попала в немилость и ее совсем перестали печатать. Но ни о каком творческом кризисе речи не шло, она продолжала писать стихи. Жаль, что я не могу их прочитать – они очень бы дополнили картину ее взаимоотношений с третьим мужем.

Я взяла следующее ее письмо, уже 1925 года.

Сейчас у Людмилы обедая, получила твое письмо, милый друг!

Спасибо, что не обманул. Вчера была в Царском. Мать М. М. встретила меня на лестнице и сказала: не позволяйте ему говорить, сегодня утром было кровохаркание. Я вошла. М. изменился мало, розовый, глаза блестят, но руки желтые и худые. Показал, чтобы села к нему на постель. Улыбнулся мне и зашептал (говорить не может): «А я о вас сегодня все время думаю». Сидела у него минут 20. В парк не пошла, даже faux gothique Менеласа меня не соблазнил.

В городе, на Литейном встретила Тинякова, кот. подошел ко мне, чтобы поведать, что автор рецензии в Ж И – он и еще что-то в этом роде.

Была в Фонтанном Доме, читала Бенуа. Узнала все о notre pere Davide и его школе. Там есть нечто, что должно удивить тебя безмерно. Ночью с великой неохотою читала Бодлера: ученичество у него Гумилева для меня несомненно. Жаль, что завтра Людмила везет меня на Сиверскую: хотелось бы успеть посмотреть Леконт-де-Лиля и Виньи.

Без тебя в городе плохо: пыльно, все кричат, всех жаль. Постарайся подольше побыть в деревне, не скучай, пиши мне и не забрасывай дневник.

Поцелуй от меня Ирину, привет А. Е. Господь с тобой.

Твоя Анна.

А что карточки, наверно ничего не вышло?
12.8.25

Еще более бодрое и еще менее личное, словно она и не мужу пишет, а просто хорошему другу. Хотя вполне возможно, что к этому времени их чувства уже подостыли. Я взяла следующее письмо, адресованное Ахматовой. Нет, похоже, мое предположение было ошибочным – если чувства и остыли, то только с ее стороны, но не со стороны ее мужа.

7 апреля 26

Милый – грустное утро без тебя, с чувством долгой, даже древней общей жизни. Наверное, ничто от меня тебе уже не ново (и это письмо), – а мне бы вместе с тобой смотреть вниз на море жизни всегда и «вечно» – и отмечать твоими словами, что знакомо и что незнакомо, узнавать появление новых «кораблей».

Бегут облака на окне сквозь розовые деревья – с твоей стороны, заблаговестили – разлучная, неласковая, холодная, как эта весна, ты всегда, как весна? Ан.

Приходи обедать, А.Е. не будет, будем вдвоем.

Я уже забыл и какие твои руки, и какая шея – так мало виделись, так внешне виделись.

Ты уже не согласна, наверное, быть до конца вместе, уже скучаешь?

А я не хочу менять ни одного слова твоего на другое слово.

Целую тебя, серые глаза, темнеющие по краям, это я вчера увидел и запомнил.

К.-М.

Потом было длинное письмо, в котором Николай Николаевич писал Ахматовой о том, как попал в железнодорожную катастрофу, был ранен и вспоминал о ней. Но ответного письма не нашлось, и я так и не узнала, как среагировала она на то, что ее муж едва не погиб. Однако похоже, то ли разлука усилила ее чувства, то ли это происшествие заставило быть более нежной, но следующие два письма наконец-то были написаны любящей женой, а не поэтом.

2 мая 27 г.

Милая Радость, я уже получила 3 письма из Токио. Николушка, не унывай, стыдно. Дома все благополучно. Уверяю тебя, что нам здесь совсем не плохо; тепло, тихо, никто нас не обижает. Я здорова, вчера (1-го мая) ездила в Ц., была в парке, ты со мной, как всегда, милый и дерзкий. Еще нет ни цветов, ни травы, но во всем весна. Вспомнила всех, кто для меня связан с Ц. парками: Анненского, Комаровского. Николая Степановича (и стихотворение П-на: «В начале жизни школу помню я»).

Я проезжала мимо дома, где прошла твоя юность; алый флаг – над балконом, окна освещены. Что печальнее прошлого? Милая Радость? Неужели еще хоть одну весну в жизни встречать без тебя, быть этого не может. Но я рада, что ты уехал, что ты узнал новое невиданное. Меня начинают пугать твои письма. Клянусь тебе, здесь все в порядке, Галя лелеет меня, Ира здорова – все тебя любят, ждут и хотят, чтобы ты был так же

безмятежен. Твою телеграмму, посланную сегодня в 8 утра, я получила в 5 ч. пополудни, с ужасом думаю, что не писала тебе 2 недели, что ты будешь волноваться, а оттого пуще хандрить и мрачнеть. Не надо, солнце, береги нашу любовь, когда мы так тяжело разлучены.

Ходишь ли в музеи, видишь ли людей? пиши и помни, а главное, будь веселым азиатом (как эти два слова ни за что не связываются?!).

Целую тебя, подумай, каково мне смотреть на твою карточку, где ты в повязке. Обещаю писать часто.

Анна – твоя.

18 мая 1927

Дорогой друг, последнее письмо я получила 12-го, т. е. очень давно. Если завтра не будет письма, пошлю телеграмму. О моих кавказских делах тебе пишет Лукницкий, если ты не хочешь, чтобы я ехала, извести немедленно. Не поеду.

Сегодня звонил Арнольд Ильич о книгах. Там опять что-то налаживается и разлаживается. Предпочитаю в это дело не вникать.

Тревога за тебя иногда вырастает до таких размеров, что я пугаюсь. Ни минуты покоя, но внешне все благополучно и здоровьем я вообще довольна.

Отчего ты в каждом письме пишешь, что писем от меня не ждешь, я понять не могу. Я от тебя писем жду. Котий, Котий, уж не Кай ли ты, заехав в такую даль.

Спасибо за карточки, они стоят на твоем письменном столе и каждую минуту напоминают мне о твоем отсутствии – глупый мальчик, который уезжает, когда не нужно.

Где ты? В Токио, в Осаке, в Сеуле или уже едешь домой? Все тебе кланяются, пришли открытки Р-вым и Людмиле Николаевне. Будь любезен раз в жизни.

Береги себя, милая радостью, и возвращайся скорее провожать меня в Кисловодск. (Написано из злонравия.)

Целую твои глаза.

Анна.

А потом вновь перерыв на четыре года, когда они то ли не расставались и поэтому не имели необходимости переписываться, то ли эта переписка не сохранилась. С 1931 года – несколько записок, не совсем понятных, но таких невеселых и наполненных завуалированными обвинениями, что было ясно – брак их катился к завершению. Но вместе с тем мне казалось, что брак их

распадался, а чувства не угасли, и я вдруг подумала, что вот – в этом вся Ахматова, вот то, что я все время упускала. У нее ни к кому чувства не угасали. Ну конечно!

Я перебрала в памяти все, что она говорила мне о Гумилеве, Блоке, Модильяни, что читала в ее письмах о Кутузове. Не зря меня еще тогда удивляло, что она в одном письме уже любит Гумилева, а в другом – все еще тоскует по Кутузову. Это трудно понять, но, кажется, она и правда если кого любила, то уже навсегда. Время шло, чувства менялись, она расставалась с мужчинами, причем в основном, похоже, по собственной инициативе, но не охладевала к ним, а продолжала любить, только уже по-другому. Что это – особенности характера или необходимость для поэта, которому всегда нужны чувства, чтобы черпать из них вдохновение?

В этой стопке оставались только конверт, надписанный рукой Ахматовой, и еще одно письмо Николая Николаевича. Очень длинное, датированное 1942 годом, и очень интересное для меня, потому что оно было уже не о любви, а просто о самой Ахматовой, о ее характере и о том, какой ее видел человек, который жил с ней, любил ее и знал ее такой, какой я никогда не узнаю.

4 апреля 42

Здравствуйте, Аничка.

Бесконечно благодарен за Ваше внимание и растроган; и это не заслуженно. Все еще в больнице, не столько потому, что болен, сколько оттого, что здесь лучше, чем на воле: есть мягкая кровать, и кормят хотя и неважно, но даром. И спокойно. Я еще не вполне окреп, но все же чувствую себя живым и так радуюсь солнечным дням и тихой развивающейся весне. Смотрю и думаю: я живой. Сознание, что я остался живым, приводит меня в восторженное состояние, и я называю это – чувством счастья. Впрочем, когда я умирал, то есть знал, что я непременно умру, – это было на Петровском острове у Голубевых, куда на время переселился, потому что там, казалось, единственная в Ленинграде теплая комната – я тоже чувствовал этот восторг и счастье. Тогда, именно, я думал о Вас много. Думал, потому что в том напряжении души, которое я тогда испытывал, было нечто, как я уже писал Вам в записочке, похожее на чувство, жившее во мне в 20-х годах, когда я был с Вами. Мне кажется, я в первый раз так всеобъемлюще и широко понял Вас – именно потому, что это было совершенно бескорыстно, т. к. увидеть Вас когда-нибудь я, конечно, не рассчитывал, это было действительно предсмертное свидание с Вами и прощание. И мне показалось тогда, что нет

другого человека, жизнь которого была бы так цельна и поэтому совершенна, как Ваша; от первых детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотанья и вместе с тем гула поэмы. Я тогда думал, что эта жизнь цельна не волей – и это мне казалось особенно ценным, – а той органичностью, т. е. неизбежностью, которая от Вас как будто совсем не зависит. Теперь этого не написать, то есть всего того, что я тогда думал, но многое из того, что я не оправдывал в Вас, встало передо мной не только оправданным, но и, пожалуй, наиболее прекрасным. Вы знаете, многие осуждают Вас за Леву, но тогда мне было так ясно, что Вы сделали мудро и безусловно лучшее из того, что могли выбрать (я говорю о Бежецке), и Лева не был бы тем, что он есть, не будь у него бежецкого детства. (Я и о Леве много думал, но об этом как-нибудь другой раз – я виноват перед ним.) В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена в камне и одним приемом очень опытной руки. Все это – я помню – наполнило меня тогда радостью и каким-то совсем не обычным, не сентиментальным умилением, а созерцательным, словно я стоял перед входом в Рай, вообще тогда много было от «Божественной комедии». И радовался я не столько за Вас, сколько за мироздание, потому что от всего этого я почувствовал, что нет личного бессмертия, а есть Бессмертное. Это чувство было особенно сильным. Умирать было не страшно, то есть я не имел никаких претензий персонально жить или сохраниться после смерти. Почему-то я совсем не был в этом заинтересован, но что есть Бессмертное, и я в нем окажусь – это было так прекрасно и так торжественно. Вы казались мне тогда – и сейчас тоже – высшим выражением Бессмертного, какое я только встречал в жизни. В больнице мне довелось перечитать «Бесов». Достоевский, как всегда, мне тяжел и совсем не для меня, но в конце романа, как золотая заря, среди страшного и неправдоподобного мрака, такие слова: «Одна уже всегдашняя мысль о том, что существует нечто безмерно справедливейшее и счастливейшее, чем я, уже наполняет и меня всего безмерным умилением – и славой, – а кто бы я ни был, что бы ни сделал, человеку гораздо необходимее собственного счастья знать и каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье, для всех и для всего…» и т. д. Эти слова почти совершенное выражение того, что я тогда чувствовал. Именно «и славой» – именно «спокойное счастье». Вы и были тогда выражением «спокойного счастья славы». Умирая, я к нему приближался. Но я остался жить и сохранил и само это чувство и память о нем. Я так боюсь теперь его потерять и забыть и делаю усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не случилось того, что так много раз случалось со мной в жизни: Вы

знаете, как я легкомысленно, не делая никаких усилий, даже скорее с вызовом судьбе, терял лучшее, что она, судьба, мне давала. Солнце, которое я так люблю, после ледяного ленинградского ада, поддерживает меня, и мне легко беречь перед этой солнечной славой это чувство Бессмертного. И я счастлив.

В вагоне, когда я заболел, мне почему-то вспомнился Хлебников, и я воспринимал его как самый чистый звук, самый чистый голос моего времени и как синтез этого времени, по отношению к которому Маяковский что-то одностороннее, частный случай. Вы – не частный случай, но почему-то я не мог соотнести Вас с Хлебниковым, и это до сих пор мне не понятно.

Подъезжая к Ташкенту, я не надеялся Вас увидеть и обрадовался до слез, когда Вы пришли, и еще больше, когда узнал, что на другой день Вы снова были на вокзале. Ваше внимание ко мне бесконечно. В телеграмме, которую вчера передала мне Ира, Вы спрашиваете, не надо ли чего прислать. Мне очень хочется приехать к Вам; это не скоро; еще неделю я пролежу здесь, а потом надо будет искать комнату и устраиваться. Если к тому времени мы еще не получим эвакуационных денег, я попрошу Вас прислать мне на дорогу. Но я слышал также, что Вы собираетесь в Самарканд, это было бы прекрасно. Мне хотелось, правда, лучше приехать к Вам, но одно другому не мешает. За телеграмму спасибо.

Аня, солнце и чистое небо, а ночью было так много крупных звезд, и я их вижу, а на севере из-за своих глаз я их не видел.

Устал немного писать. Письмо вышло длинное и, пожалуй, бестолковое. Простите. Целую Ваши руки и еще раз спасибо за все.

б. К. М.

Ахматова в этом письме представала совсем с другой стороны, не такой, какой ее воспринимала я. И мне подумалось: а может быть, прав как раз Николай Николаевич, а не я? Ведь моей задачей было «разобрать ее на винтики», изучить по частям, понять, что у нее внутри. И я до сих пор вижу ее вот так по частям; как ни пытаюсь, мне так и не удается создать цельный образ, понять, что она из себя представляет. А он пишет как раз о цельности и органичности, о человеке, которого нельзя рассматривать и воспринимать иначе как целиком. Так, может быть, я и правда за деревьями не вижу леса?

Я взяла последний конверт, на котором было написано рукой Ахматовой «Третье и последнее». Внутри оказались стихи. И это единственное среди всей переписки стихотворение рассказывало о ней и ее чувствах больше, чем все ее письма.

Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем
И за тебя я пью,
За ложь меня предавших губ,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и груб,
За то, что Бог не спас.

27 июля 1934 г.

Анна Ахматова

* * *

Проснулась я от звона разбитого стекла. Резко подняла голову и только тогда с удивлением поняла, что сплю одетой, на диване, где вчера читала переписку Ахматовой. Похоже, я вчера задумалась и сама не заметила, как уснула. И очень крепко, раз не услышала, как Андрей вернулся, и даже не заметила, что он накрыл меня одеялом. Я улыбнулась. Всего лишь небольшая забота, а как от нее тепло на сердце…

За завтраком мы обменивались какими-то малозначительными фразами, потом я заговорила о прочитанных вчера письмах, но, кажется, на этот раз они Андрея мало интересовали. Он думал о чем-то своем, слушал вполуха, а когда я встала, собираясь пойти переодеваться для работы, вдруг решительно заявил:

– Таня, я думаю, нам надо поговорить.

Я не успела спросить, о чем, потому что, как оказалось, не судьба нам была что-то обсуждать в тот день. Раздался звонок в дверь, да еще такой длинный и требовательный, что мы оба оглянулись, замолчали, и Андрей пошел открывать. Я же, поняв, что это кто-то к нему по работе, отправилась переодеваться.

Через несколько минут, когда я уже причесывалась перед выходом, Андрей зашел в комнату, и по его лицу я поняла, что произошло что-то чрезвычайное.

– Что случилось?

Он подошел ко мне, сжал мою руку и шепотом сообщил:

– Товарищ Сталин умирает.

* * *

Конференция началась как положено, но несмотря на это, мне казалось, что в воздухе витает что-то странное – то ли страх, то ли ожидание. По беспокойным взглядам, осторожным фразам создавалось ощущение, что слух уже просочился, несмотря на утверждения Андрея, что состояние вождя держится в строжайшей тайне. Оказалось, он без сознания уже больше суток – врачей вызвали еще вчера утром, – но населению решили сообщить только завтра. Официально – чтобы подготовиться к возможной панике, а неофициально, наверняка, чтобы успеть поделить власть. Наверное, они хотели бы и дольше все скрывать, но понимают, что слухам невозможно помешать. Знают они, знают врачи, обслуживающий персонал, члены их семей, журналисты, которым поручено написать в завтрашние газеты соответствующие статьи. Все эти люди не смогут долго хранить молчание, и вполне возможно, что вся Москва уже шепчется. Вон какой у моих коллег подозрительный вид. И неудивительно – мое сердце тоже сжимала паника. Что будет дальше? Как мы будем жить?

К обеденному перерыву мне удалось взять себя в руки и убедить себя, что у меня просто разыгралась паранойя. Никто еще ничего не знает, а нервничают все из-за продолжающихся арестов. Сейчас все врачи нервничают, даже те, чью сферу деятельности пока не затронули.

Но не успела я об этом подумать, как нам неожиданно объявили, что конференция переносится, о времени и месте будет сообщено дополнительно, а пока все могут разъезжаться по домам. И все – больше никакой информации, никаких объяснений, в чем причина. Хотя я, конечно, догадывалась, в чем дело.

– Татьяна Яковлевна. – Меня поймала под руку бывшая московская коллега и прошептала мне на ухо: – Вы слышали? Марк Яковлевич Серейский арестован.

Я испуганно посмотрела на нее. Серейский был заведующим клиникой Института психиатрии Минздрава РСФСР, одним из ведущих психиатров страны и моим бывшим начальником. Кроме того, что мне было очень жаль его и как человека, и как специалиста, руки предательски задрожали при мысли, что вот и до психиатров добрались. Господи, неужели им сейчас до новых арестов, когда товарищ Сталин умирает, а значит, рушится тот мир, к которому мы привыкли за тридцать лет.

Вслух я, разумеется, ничего из этого не сказала, а только строго посмотрела на нее и покачала головой.

– Не стоит пересказывать сплетни. А если арестован, значит, за дело.

Она, конечно, тут же кивнула и поспешила согласиться, а потом торопливо затерялась в толпе расходящихся участников отмененной конференции.

Как же меня тошнит от лицемерия. Особенно от собственного…

* * *

Я заехала на вокзал, поменяла билеты на сегодняшнее число и поехала домой собираться. Там я позвонила в редакцию, попросила передать Андрею, что конференцию отменили, поэтому я возвращаюсь в Горький. А потом, поскольку время еще оставалось, решила быстренько дочитать последние несколько черновиков из архива Ахматовой.

Развернула первый из них, и меня пробрал мороз по коже. Впервые я коснулась той части жизни Ахматовой, о которой прежде знала лишь мельком и в основном по слухам.

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Зная Ваше внимательное отношение к культурным силам страны и в частности к писателям, я решаюсь обратиться к Вам с этим письмом. 23 октября в Ленинграде арестованы Н.К.В.Д. мой муж Николай Николаевич (Профессор Академии Художеств) и мой сын Лев Николаевич Гумилев (студент Л.Г.У).

Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю Вам честное слово, что они не фашисты, не шпионы, не участники контрреволюционных обществ.

Я живу в С.С.С.Р. с начала Революции, я никогда не хотела покинуть страну, с которой связана разумом и сердцем. Несмотря на то что стихи мои не печатаются и отзывы критики доставляют мне много горьких минут, я не падала духом; в очень тяжелых моральных и материальных условиях я продолжала работать и уже напечатала одну работу о Пушкине, вторая печатается.

В Ленинграде я живу очень уединенно и часто подолгу болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу пережить.

Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет.

Анна Ахматова

1 ноября 1935

6 апреля 1939.

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Обращаюсь к Вам с просьбой о спасении моего единственного сына Льва Николаевича Гумилева, студента IV курса исторического фак. Ленинградского Г.У. Сын мой уже 13 месяцев сидит в тюрьме, его судили, приговор затем был отменен, и теперь дело вновь в первоначальной стадии (уже 5-й месяц).

Столь длительное заключение моего сына приведет его и меня к роковым последствиям.

За это время я в полном одиночестве перенесла тяжелую болезнь (рак лица). С мужем я рассталась, и отсутствие сына, самого близкого мне человека, отнимает у меня всякую жизнеспособность.

Мой сын даровитый историк. Акад. Струве и проф. Артамонов могут засвидетельствовать, что его научная работа, принятая к печати, заслуживает внимания.

Я уверена, что сын мой ни в чем не виновен перед Родиной и Правительством. Своей работой он всегда старался оправдать то высокое доверие, которое Вы нам оказали, вернув мне сына в 1935 г.

С великим смущением и чувствуя всю громадность моей просьбы, я опять обращаюсь к Вам.

Иосиф Виссарионович! Спасите советского историка и дайте мне возможность снова жить и работать.

Анна Ахматова.

Третий черновик был совсем свежий и даже не законченный.

Умоляю Вас спасти моего единственного сына, который находится в исправительно-трудовом лагере (Омск, п/я 125) и стал там инвалидом.

Лев Николаевич Гумилев (1912 г.р.) был арестован в Ленинграде 6 ноября 1949 г. органами МГБ и приговорен Особым Совещанием к 10 годам заключения в ИТЛ.

Ни одно из предъявленных ему на следствии обвинений не подтвердилось – он писал мне об этом. Однако Особое Совещание нашло возможным осудить его.

Сын мой отбывает срок наказания вторично. В марте 1938 года, когда он был студентом 4-го курса исторического факультета Ленинградского университета, он был арестован органами МВД и осужден Особым Совещанием на 5 лет. Этот срок наказания он отбыл в Норильске. По окончании срока он работал в качестве вольнонаемного в Туруханске. В 1944 году, после его настойчивых просьб, он был отпущен на фронт добровольцем. Он

служил в рядах Советской армии солдатом и участвовал в штурме Берлина (имел медаль «За взятие Берлина»).

После Победы он вернулся в Ленинград, где в короткий срок окончил университет и защитил кандидатскую диссертацию. С 1949 г. служил в Этнографическом музее в Ленинграде в качестве старшего научного сотрудника.

Я перевернула конверт, из которого достала эти черновики, и только тогда заметила, что на нем тоже набросаны несколько строк – видимо, черновик какого-то стихотворения.

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,

Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною,
И в лютый холод, и в июльский зной,
Под красною ослепшею стеною.

Я дрожащими руками сложила черновики и убрала их обратно в конверт.

* * *

Андрей все же вырвался с работы и приехал меня проводить. А потом позвонил мне на работу, чтобы узнать, как я добралась. Потом еще раз, и еще. Ни о чем серьезном не говорил, да и не до того было – после смерти Сталина начались события, которые затронули многих, и нас в том числе. Скоро я услышала, что выпустили Серейского, а с ним и других врачей, в психиатрических кругах робко заговорили о возможности отхода от физиологического учения Павлова, назревали перемены как в жизни всей страны, так и в науке, которой я занималась.

Через несколько недель Андрей, позвонив в очередной раз, вдруг спросил, не хочу ли я вернуться в Москву. На моей прежней работе вновь появилось свободное место, и он уже выяснил, что в Горьком мне не будут чинить препятствий и отпустят обратно,

теперь у них есть и свои кадры, чтобы меня заменить.

Я замешкалась с ответом, но не потому, что не хотела назад в Москву, а потому, что не могла понять, что скрывается за этим вопросом. Андрей предлагает мне вернуться в Москву или… к нему? И если так, то готова ли я сама вернуться? Поэтому уклончиво сказала:

– Конечно, в Москве работа интереснее и по моей специальности…

– Отлично! – радостно сказал Андрей. – Тогда я передам, что ты не против, пусть посылают запрос о твоем возвращении, – и бросил трубку.

Я тоже положила трубку и надолго задумалась. В последнее время я все чаще вспоминала переписку Ахматовой, прочитанную за те три дня в Москве. И стихотворение на конверте, намертво отпечатавшееся в моей памяти. Как врачу мне хотелось бы поговорить с ней еще раз, кое о чем расспросить, понять, верны ли мои догадки.

Но вспоминала я ее письма не поэтому. Из разговоров с ней я узнала Ахматову-поэта, а в письмах я увидела человека, женщину – любившую, терявшую и страдавшую. И даже ее несгибаемый характер смирялся и склонялся, когда дело касалось ее близких. Хорошо быть гордой, но не тогда, когда речь идет о тех, кто тебе по-настоящему дорог. Ради того, кого любишь, гордостью можно и поступиться…

* * *

Через два месяца, сдав все дела и распрощавшись с Горьким, я вернулась в Москву. Андрей встретил меня на платформе, и я ожидала, что он наконец скажет что-нибудь конкретное, предложит помириться, попросит прощения, а то все это время он строил совместные планы, но ни один из них не выходил за рамки дружеского сосуществования.

Но он вдруг неожиданно спросил:

– Помнишь моего друга Серегу Воронова?

Я удивленно ответила:

– Летчика, который тебе жизнь спас, когда вы на минное поле сели? Еще бы не помнить.

– Он погиб.

– Как?! Когда? – ахнула я.

– Недавно, в Жуковском. Он ведь после войны летчиком-испытателем стал. И вот… всю войну прошел, а тут… катастрофа, и…

– Мне очень жаль, – мягко сказала я, беря его за руку. Было видно, что ему и сочувствия хочется, и он не может рассказывать об этой катастрофе – наверняка Воронов испытывал какой-нибудь сверхсекретный самолет, о котором запрещено даже упоминать, как и обо всем, что с ним связано.

– У него сын остался, – не поднимая глаз, сказал Андрей.

– Помню его, он, кажется, тоже Сережа. – А еще я вспомнила, что Воронов был вдовцом, его жена умерла вскоре после войны от какой-то болезни. – Что же с ним теперь будет?

Андрей помялся – кажется, я последний раз видела его таким неуверенным больше двадцати лет назад, еще когда он мне предложение делал. А потом он вдруг перестал разглядывать свои ботинки и посмотрел мне в глаза.

– Давай его усыновим?

Я несколько секунд медлила. Это был прямой вопрос, подразумевавший очень многое – и восстановление нашего брака, и создание новой семьи с еще одним ребенком. Мелькнула мысль, что мог бы хоть прощения попросить. А с другой стороны – если он из всех женщин снова выбрал меня, это ведь уже многое значит.

И я ответила:

– Давай.

Эпилог

Ахматову мне довелось увидеть еще только один раз. После возвращения в Москву я несколько раз пыталась встретиться с ней – мне очень хотелось расспросить ее о некоторых событиях ее жизни, узнать, насколько верны были некоторые мои догадки. Мне казалось, что она согласилась бы ответить на мои вопросы. Хотя бы потому, что, судя по ее письмам, она всегда любила поговорить о себе. А еще потому, что я знала – ее беспокоят выдумки вокруг ее персоны, и она предпочла бы сама быть творцом своей биографии.

Но все как-то не складывалось, несмотря на то, что я порывалась пойти к ней в каждый свой приезд в Ленинград. Все время оказывалось, что она либо в Москве, либо в больнице, либо еще где-нибудь. Я знала, что она хлопотала о сыне, которого долго не хотели реабилитировать, потом слышала от Фаины Георгиевны, что она занимается переводами, много работает, не щадит свое здоровье. Потом ее начали печатать, и я наконец-то смогла прочитать ее зрелые стихотворения, написанные в годы вынужденного молчания. Правда, того, строки из которого я видела на конверте, среди них не было.

А потом, я даже не заметила, как это произошло, Ахматова из опального поэта вдруг стала настоящей королевой советской поэзии. Некоронованной, но от этого не менее значимой – по словам Андрея, имеющего много знакомых среди ленинградской богемы, все молодые многообещающие поэты крутились вокруг нее, словно свита вокруг королевы. В 1962 году даже разнесся слух, что ее выдвинули на Нобелевскую премию, и все окололитературные круги замерли в ожидании: дадут – не дадут, позволят ей принять премию или не позволят?

Нобелевскую премию ей все же не дали, хотя Андрей говорил, что в Союзе писателей все уверены, ей бы позволили ее принять. Но в 1964 году она получила что-то вроде утешительного приза – итальянскую литературную премию «Этна-Таормина».

А осенью 1965 года Андрей принес мне напечатанные на машинке стихи Ахматовой, которые до сих пор не были изданы, несмотря на то, что теперь она была фактически любимицей властей. Я с замиранием сердца прочитала заголовок: «Реквием»… Это были те самые стихи, отрывок из которых я прочитала на конверте с ее прошениями за сына.

* * *

11 ноября Андрей, встречая меня с работы, вместо обычного приветствия сказал:

– Таня, ты слышала, Ахматова в Москве, в Боткинской больнице. Говорят, у нее инфаркт.

Я замерла. С тех пор, как прочитала «Реквием», я думала о ней очень часто и уже решила, что во время отпуска точно поеду в Ленинград. Мне необходимо с ней поговорить, иначе вопросы так и будут сидеть в голове, словно занозы, мешая спокойно жить.

– Как она? Как себя чувствует?

Андрей пожал плечами.

– Говорят, состояние удовлетворительное, но это как посмотреть – лежит на спине, много спит. Говорить, двигаться и тем более нервничать не желательно. Да и сама понимаешь, какой у нее возраст.

Я машинально кивнула, переживая услышанное. Неужели я опоздала? Как можно было тянуть и откладывать столько лет? Ленинград рядом, всего ночь на поезде, почему я раньше не съездила и не поговорила с ней? А теперь, если меня к ней и пустят, вряд ли я смогу расспросить ее о чем-нибудь серьезном, разве можно беспокоить человека после инфаркта? Но в любом случае мне надо ее навестить, хотя бы для того, чтобы рассказать, какое впечатление на меня произвели ее стихи.

Однако сделать это мне удалось только в январе, когда Ахматова уже выздоравливала, могла вставать, читать, общаться с людьми, и к ней стали пускать посторонних.

– Татьяна Яковлевна, как поживаете? – встретила она меня, и в тоне ее звучала смесь добродушия и колкости. – Снова хотите покопаться в моей голове?

Она выглядела худой, бледной и, конечно, очень сильно постаревшей – я напомнила себе, что прошло почти двадцать лет, и я сама уже почти в том возрасте, в каком была она в нашу первую встречу. Но держалась она, несмотря на болезнь, все так же прямо и с тем же царственным видом. Да и память, похоже, ее не подводила.

– Здравствуйте, Анна Андреевна. – Я села на стул для посетителей. – Очень хотела бы. А вы позволите?

Ахматова бросила на меня внимательный взгляд, удивительно ясный и цепкий для ее возраста и состояния. Если у меня и были сомнения в том, что она в здравом уме и твердой памяти, то теперь они окончательно развеялись. Телом она была слаба, но духом так же крепка, как и раньше. И подумать только, когда-то были опасения, что она собирается покончить с собой!

Да она и сейчас полна жизни.

– Что теперь вы хотите узнать? – сказала она.

Я честно ответила:

– Все, что вы пожелаете рассказать. Я помню все, что вы рассказывали о себе в 1946 году, но с тех пор прошло много лет, а кроме того – вы ведь тогда о многом умолчали.

– И вы тоже хотите написать мою биографию? – В ее тоне мелькнуло что-то новое, похожее на высокомерие.

– Зачем? Лучше всех ее напишете вы сами.

Она покачала головой.

– Биографию я принималась писать несколько раз, но, как говорится, с переменным успехом. Последний раз это было как раз в 1946 году. Ее единственным читателем оказался следователь, который пришел арестовывать моего сына, а заодно сделал обыск и в моей комнате. Это было 6 ноября 1949-го. На другой день я сожгла рукопись вместе со всем моим архивом, кроме тех писем, что уже отдала на хранение… Она, насколько помню, была не очень подробной, но там были мои впечатления 1944 года – «Послеблокадный Ленинград», «Три сирени» – о Царском Селе и описание поездки в конце июля в Териоки – на фронт, чтобы читать стихи бойцам.

– Почему же вы не написали ее снова?

– Я пробовала. Но очень скучно писать о себе и очень интересно о людях и вещах – Петербург, запах Павловского вокзала, парусники в Гунгербурге, Одесский порт в конце сорокадневной забастовки. Себя надо давать как можно меньше… Начинать совершенно все равно с чего: с середины, с конца или с начала. Я вот, например, хотела сейчас начать с того, что эти зеленые домики с застекленными террасами (в одном из них я живу) непрерывно стояли перед моими закрытыми глазами в 1951 году в Пятой Советской больнице, когда я тоже лежала после инфаркта и, вероятно, находилась под действием пантопона. Дома эти тогда еще не существовали – их построили в 1955 году, но когда я их увидела, я тотчас припомнила, где видела их раньше. Оттого я и написала в «Эпилоге»:

> Живу как в чужом мне приснившемся доме,
> Где, может быть, я умерла…

Кстати о бреде. Во время тифа, в Ташкенте, в 1942 году, круглоголовый человек без лица сел на стул около моей кровати и рассказал мне все, что случится со мной, когда я вернусь в Ленинград. Запись его рассказа я сожгла вместе со всей остальной прозой того времени…

Я успела вставить фразу о том, что мне, да и всем остальным интересно было бы почитать ее воспоминания как о ее собственной жизни, так и о людях и вещах. Но кажется, она меня не слушала. Она и раньше явно предпочитала монолог – во время наших бесед в 1946 году мои реплики чаще всего сводились к «очень интересно, продолжайте», а вот на вопросы она как раз отвечала довольно коротко. Похоже, с возрастом эта ее особенность только прогрессирует.

– Звуки в петербургских дворах, – тем временем продолжала она. – Это, во-первых, звук бросаемых в подвал дров. Шарманщики («пой, ласточка, пой, сердце успокой…»), точильщики («точу ножи, ножницы…»), старьевщики («халат, халат»), которые всегда были татарами. Лудильщики. «Выборгские крендели привез». Гулко на дворах-колодцах. Дымки над крышами. Петербургские голландские печи. Петербургские камины – покушение с негодными средствами. Петербургские пожары в сильные морозы. Колокольный звон, заглушаемый звуками города. Барабанный бой, так всегда напоминающий казнь. Санки с размаху о тумбу на горбатых мостах, которые теперь почти лишены своей горбатости. Последняя ветка на островах всегда напоминала мне японские гравюры. Лошадиная обмерзшая в сосульках морда почти у вас на плече. Зато какой был запах мокрой кожи в извозчичьей пролетке с поднятым верхом во время дождя. Я почти что все «Четки» сочинила в этой обстановке, а дома только записывала уже готовые стихи…

Она неожиданно замолчала, печально глядя перед собой, и я поспешила вставить еще одну реплику, чтобы не дать ей замкнуться:

– Вы так много всего помните.

Она горько усмехнулась и, не глядя на меня, вновь медленно заговорила:

– Теперь, когда все позади – даже старость, и остались только дряхлость и смерть, оказывается, все как-то мучительно проясняется (как в первые осенние дни) – люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни. И столько горьких и даже страшных чувств! И кто бы поверил, что я задумана так надолго, и почему я этого не знала? Память обострилась невероятно. Прошлое обступает меня и требует чего-то. Чего? Милые тени отдаленного прошлого почти говорят со мной. Может быть, это для них последний случай, когда блаженство, которое люди зовут забвеньем, может миновать их. Откуда-то выплывают слова, сказанные полвека тому назад и о которых я все пятьдесят лет ни разу не вспомнила. Странно было бы объяснить все это только моим летним одиночеством и близостью к природе,

которая давно напоминает мне только о смерти… Попытки писать воспоминания вызывают неожиданно глубокие пласты прошлого, память обостряется почти болезненно: голоса, звуки, запахи, люди, медный крест на сосне в Павловском парке и т. п., без конца. Вспомнила, например, что сказал Вячеслав Иванов, когда я в первый раз читала у него стихи, а это было в 1910 году, то есть пятьдесят лет тому назад. От всего этого надо беречь стихи. Последние дни я все время дополнительно чувствую, что где-то что-то со мной случается. По какой линии – это еще неясно. То ли в Москве, то ли еще где-нибудь, что-то втягивает меня, как горячий воздух огромной печи или винт парохода…

– Анна Андреевна. – Я забеспокоилась было, что она совсем удалилась мыслями далеко от мирских дел, но, к счастью, потом она заговорила о стихах, и это дало возможность мне перевести разговор на нужную тему. – Я недавно видела статью о вас во французском журнале. Один из знакомых перевел ее мне, так там пишут, что после революции вы перестали писать стихи и не писали их до сорокового года. Я знаю, что это неправда, но откуда взялось такое странное утверждение?

От ее отрешенности и апатии не осталось и следа, даже глаза вновь засверкали, как девятнадцать лет назад сверкали, только когда она рассказывала о Пушкине. Кстати, это тоже показательно – раньше ее обсуждение слухов вокруг собственной биографии сердило, но не настолько.

– Я тоже узнала о себе много нового из зарубежной печати. Очевидно, желание безвозвратно замуровать меня в 10-е годы имеет неотразимую силу и какой-то для меня непонятный соблазн. Между тем это совершеннейшая неправда. Действительно, с 1925 года по 1935-й я писала немного, но такие же антракты были у моих современников Пастернака и Мандельштама. Но и то немногое не могло появляться из-за пагубного культа личности. Кроме того, я писала тогда царскосельскую поэму «Русский Трианон», которая не сохранилась, потому что я расслышала в ней онегинскую интонацию. У поэта существуют тайные отношения со всем, что он когда-то сочинил, и они часто противоречат тому, что думает о том или ином стихотворении читатель. Мне, например, из моей первой книги «Вечер» (1912) сейчас по-настоящему нравятся только строки:

Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.

Мне даже кажется, что из этих строчек выросло очень многое

в моих стихах. С другой стороны, мне очень нравится оставшееся без всякого продолжения несколько темное и для меня вовсе не характерное стихотворение «Я пришла тебя сменить, сестра…» – там я люблю строки:

И давно удары бубна не слышны,
А я знаю, ты боишься тишины.

То же, о чем до сих пор часто упоминают критики, оставляет меня совершенно равнодушной. Стихи еще делятся для автора на такие, о которых поэт может вспомнить, как он писал их, и на такие, которые как бы самозародились. В одних автор обречен слышать голос скрипки, некогда помогавший ему их сочинить, в других – стук вагона, мешавшего ему их написать. Стихи могут быть связаны с запахами духов и цветов. Шиповник в цикле «Шиповник цветет» действительно одуряюще благоухал в какой-то момент, связанный с этим циклом.

– Но отчего за рубежом пишут о вас такие странные вещи? – Я вновь перевела разговор на то, что меня интересовало. – Я понимаю, здесь вас преследовали и пытались уничтожить как поэта (на самом деле я так не думала, но решила покривить душой, потому что уже успела выяснить, что сама Ахматова придерживается именно такой версии), но откуда такие нападки от эмигрантов?

Она царственно махнула рукой, словно отмахиваясь от надоедливой мухи, и пренебрежительно сказала:

– Общеизвестно, что каждый уехавший из России увез с собой свой последний день. Однажды мне пришлось проверить это, читая статью Di Sarra обо мне. Он пишет, что мои стихи целиком выходят из поэзии Кузмина. Так никто не думает уже около пятидесяти лет. Но Вячеслав Иванов, который навсегда уехал из Петербурга в 1912 году, увез представление обо мне, как-то связанное с Кузминым, и только потому, что Кузмин писал предисловие к моему «Вечеру». Это было последнее, что Вячеслав Иванов мог вспомнить, и, конечно, когда его за границей спрашивали обо мне, он рекомендовал меня ученицей Кузмина. Таким образом, у меня склубился не то двойник, не то оборотень, который мирно прожил в чьем-то представлении все эти десятилетия, не вступая ни в какой контакт со мной, с моей истинной судьбой и т. д. Невольно напрашивается вопрос, сколько таких двойников или оборотней бродит по свету и какова будет их окончательная роль.

– А какую бы вы роль им отвели?

Она холодно отрезала:

– Никакую. Меня интересует только истина.

Заявление, конечно, громкое, но совершенно не дающее никакой информации. Пришлось вновь настаивать, тем более что пока Ахматова вроде бы отвечала на мои вопросы даже с удовольствием.

– А вы не могли бы поточнее объяснить мне, когда вы писали, когда не писали и почему? У вас ведь действительно были перерывы в творчестве, вы только что сказали, что с 1925 по 1935 год писали чрезвычайно мало.

Она кивнула.

– Да, но это естественно. Я считаю, что стихи, в особенности лирика, не должны литься, как вода по водопроводу, и быть ежедневным занятием поэта. После первого Постановления ЦК в 1925 году, о котором мне сообщила на Невском Мариэтта Шагинян и которое никогда не было опубликовано, меня, естественно, перестали приглашать выступать. Это видно по списку выступлений. После значительного перерыва я в первый раз читала стихи на вечере памяти Маяковского в 10-летие его смерти в Доме культуры на Выборгской стороне вместе с Журавлевым. Это Постановление не было, по-видимому, столь объемлющим, как знаменитое Постановление 1946 года, потому что мне разрешили перевести «Письма Рубенса» для издательства «Academia» и были напечатаны две мои статьи о Пушкине, но стихи перестали просить. Тут я еще из сочувствия Пильняку и Замятину ушла из Союза. Было это в 1929 году. В 1934 году, когда рассылались анкеты для вступления в образованный тогда Союз советских писателей, я не заполнила анкету и таким образом не попала туда. Я член союза с 1940 года, что видно из моего билета.

И вновь, как и прежде, она ни словом не обмолвилась о сыне, его аресте и роли, которую этот арест сыграл в ее судьбе и в судьбе ее творчества. А ведь Симонов мне рассказывал, что сам уговаривал Ахматову вступить в Союз писателей и что она это сделала именно для того, чтобы облегчить судьбу сына. Но сама она об этом вновь молчит.

– Между 1925–1939 годами меня перестали печатать совершенно, – продолжала между тем она. – Так продолжалось до 1939 года, когда Сталин спросил обо мне на приеме по поводу награждения орденами писателей. Были напечатаны горсточки моих стихов в журналах Ленинграда, и тогда издательство «Советский писатель» получило приказание издать мои стихи. Так возник весьма просеянный сборник «Из шести книг», которому предстояло жить на свете примерно шесть недель. На судьбу этой книги повлияло следующее обстоятельство: Шолохов

выставил ее на Сталинскую премию. Его поддержали А.Н. Толстой и Немирович-Данченко. Но премию должен был получить Н. Асеев за поэму «Маяковский начинается». Пошли доносы и все, что полагается в этих случаях: «Из шести книг» была запрещена и выброшена из книжных лавок и библиотек. Италианец Di Sarra почему-то считает этот сборник полным собранием моих стихов. Иностранцы считают, что я перестала писать стихи, хотя я в промежутке 1935–1940 написала хотя бы «Реквием».

Я попыталась вставить хоть слово, ведь одной из причин, по которой я пришла к ней в больницу, было желание сказать, какое сильное впечатление на меня произвел этот самый «Реквием». Но Ахматова вновь погрузилась в свои мысли и интересовалась лишь тем, что говорила сама.

– Затем, как известно, я, уже бессчетное количество раз начисто уничтоженная, снова подвергалась уничтожению в 1946-м дружными усилиями таких людей, как Сталин, Жданов, Сергиевский, Фадеев, Еголин, – продолжала она, и я прекратила попытки что-нибудь сказать и навострила уши, ведь она сама коснулась такой темы, о которой я не знала, как заговорить. – Все они уже умерли, а стихи мои – более или менее живы. А потом борьба со мной перенеслась за пределы нашей Родины. Там мое положение было еще более безнадежным, потому что моя единственная защита, то есть сами стихи – отсутствовали, а на их месте были чудовищные переводы-подстрочники с перепутанным смыслом и не менее чудовищные слухи, вроде моей безнадежной страсти к Блоку, которая почему-то всех до сих пор весьма устраивает. Кроме того, вин у меня набралось порядочно. Кто-то обвинял меня в том, что я не символистка. Кто-то противопоставлял меня «новаторам» и непрерывно сдавал в архив. Шацкий утверждал, что Гумилев считал мои стихи «времяпровождением жены поэта», вопреки всем печатным отзывам Николая Степановича. Георгий Иванов всю жизнь под диктовку Одоевцевой старался как-нибудь уколоть меня, начиная со своих бульварных «Петербургских зим». Харкинс, не знаю, под чью диктовку и с какой целью, в своем «Алфавите русской литературы» написал нечто столь непристойное, что когда я пытаюсь пересказать это кому-нибудь из знакомых, мне просто не верят. Критика источников в современном литературоведении – насущная задача, знаю по пушкиноведению. Одна зависть – самая слепотствующая из страстей, какие ее деяния, страшно подумать! Нормальная критика вообще прекратилась еще в начале 20-х годов. На смену ей пришло нечто, может быть, даже беспрецедентное, но во всяком случае недвусмысленное. Уцелеть

при такой прессе по тем временам казалось совершенно невероятным. Понемногу жизнь превратилась в непрерывное ожидание гибели. Попытаться найти какую-нибудь работу было бессмысленно…

И ни полслова о тех людях, которые ее поддерживали в трудные годы. А ведь я знала, что ей не дали умереть с голоду ни в эвакуации, ни после Постановления 1946 года. Вокруг нее всегда были преданные люди, у нее всегда была работа, ее защищали, оберегали, лечили, боялись за ее физическое и душевное здоровье. И она слишком умна, чтобы этого всего не знать. В чем же дело? Кажется, ей просто нравится быть несчастной и гонимой. Я даже вспомнила наши с Андреем давние рассуждения о том, что быть жертвой властей для Ахматовой может оказаться даже почетно, ведь это сближает ее с Пушкиным.

– В 1936-м я снова начинаю писать, – я с трудом заставила себя сосредоточиться на том, что она продолжала говорить, – но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому. А жизнь приводит под уздцы такого Пегаса, который чем-то напоминает апокалипсического Бледного коня или Черного коня из тогда еще не рожденных стихов. Возврата к первой манере не может быть. Что лучше, что хуже – судить не мне. 1940-й – апогей. Стихи звучат непрерывно, наступая на пятки друг другу, торопясь и задыхаясь, и иногда, наверно, плохие… Считаю не только уместным, но и существенно важным возвращение к 1946 году и роли Сталина в Постановлении 14 августа. Об этом в печати еще никто не говорил. Абсолютно невозможно приводить дословные цитаты из Жданова, переносящие нас в атмосферу скандала в коммунальной квартире. С одной стороны, новая молодежь (послесталинская) этого не помнит, и нечего ее этому учить, а не читавшие мои книги мещане до сих пор говорят «альковные стихи Ахматовой» (по Жданову) – не надо разогревать им их любимое блюдо. Невозможно объяснить, почему такое говорится о женщине-поэте, никогда не написавшей ни одного эротического стиха… Ругательные статьи были не только в «Культуре и жизни», но и во всей центральной и периферийной прессе – четырехзначное число в течение многих лет. И все это в течение многих лет давали нашей молодежи как назидание. Это был экзаменационный билет во всех вузах страны.

Мне показалось, или она гордилась этим? Нет, точно не показалось. В голосе Ахматовой слишком явно звучала гордая обреченность мученицы, которая пошла на костер, чтобы потом вознестись на небо и занять свое место среди святых.

Но почему-то меня это совсем не удивило. Кажется, что-то такое я предполагала еще тогда, в 1946 году, когда мне нужно

было определить, не собирается ли Ахматова свести счеты с жизнью. При всей странности и противоречивости того, что я узнала о ней и от нее за все прошедшие годы, все эти противоречия складывались в такую стройную картину, что я не выдержала и сказала:

– «Нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому совершенна, как ваша».

Она замолчала и воззрилась на меня так, словно с ней заговорила кошка, а то и вовсе тумбочка. А потом вдруг неожиданно искренне и немного растерянно улыбнулась и потянулась к своей сумке.

– Это ведь вам Фаина отдавала на сохранение остатки моего архива? – Она достала конверт и показала его мне. – Я получила его обратно, спасибо, и с тех пор всегда ношу это письмо с собой.

К сожалению, это были ее последние сказанные мне слова. Казалось бы, после них наш разговор мог пойти намного живее и искреннее, но судьба (вот я и стала фаталисткой) словно бы не захотела, чтобы я приблизилась к разгадке личности Ахматовой. В коридоре послышались шаги, голоса, и в палату вошли сразу несколько человек, причем судя по тому, как она им обрадовалась и как они захлопотали вокруг нее – все ее близкие друзья.

Ахматова представила меня им, но обо мне сразу же все забыли – у них и так хватало что обсудить, что рассказать ей, а она жадно впитывала информацию, задавала вопросы и давала какие-то указания. Несколько минут я наблюдала за всей этой суетой, и в памяти сами всплывали рассказы Андрея о том, что Ахматова теперь – словно королева, окруженная свитой. Именно так она и выглядела…

Краем уха я уловила разговор об опальном поэте Бродском, которого не так давно вернули из ссылки после многократных обращений к правительству советских и зарубежных писателей. Говорили о том, что хлопоты советских деятелей культуры никакого влияния на власть не оказали, все решило вмешательство Жана-Поля Сартра и опасения, что на Европейском форуме писателей советская делегация из-за Бродского могла оказаться в трудном положении. Ахматова на что-то рассердилась и громко заявила:

– Вообразите, он еще жаловался: «Никто для меня пальцем о палец не хочет ударить. Если б они хотели, они освободили бы меня в два дня». Да за него хлопотали так, как не хлопотали ни за одного репрессированного… И Фрида, и я, и Твардовский, и Шостакович, и Корней Иванович, и Самуил Яковлевич. И Копелевы. Это на моих глазах, а сколькие еще, именитые и не именитые, в Ленинграде! У него типичный лагерный психоз – это

мне знакомо: Лева говорил, что я не хочу его возвращения и нарочно держу в лагере…

Вот я и получила ответ на тот вопрос, который не решилась задать. Понятно, почему она почти не упоминает сына в своих рассказах. Раньше боялась ему повредить, а теперь он обижен на нее, а она на него. Я вспомнила ее письма к Сталину, рассказ Симонова, фразу про унижения и покачала головой.

Тем временем какой-то молодой человек сел рядом с Ахматовой, держа наготове блокнот, и она стала диктовать:

– И если поэзии суждено цвести в XX веке именно на моей Родине, я, смею сказать, всегда была радостной и достоверной свидетельницей… И я уверена, что еще и сейчас мы не до конца знаем, каким волшебным хором поэтов мы обладаем, что русский язык молод и гибок, что мы еще совсем недавно пишем стихи, что мы их любим и верим им…

Какой королевский пафос. Я поняла, что я здесь уже лишняя, а дальше и вовсе буду только мешаться, так что поспешила выйти и осторожно прикрыла за собой дверь.

Что ж, самое важное я узнала, остальное можно было обдумать дома. К тому же я решила обязательно зайти снова через пару недель, перед тем, как Ахматову переведут из больницы в санаторий. Вот тогда можно будет поговорить и о «Реквиеме», и о сыне, и о гонениях. Когда они заговорили о Бродском, я вспомнила, как после его ареста по Москве пересказывали фразу Ахматовой: «Какую биографию делают нашему рыжему!» Мне кажется, или в этих словах прозвучало что-то похожее на зависть? Неужели она боится забвения, вот и пытается представить Постановление 1946 года более ужасным, чем оно даже было на самом деле? Об этом ее, конечно, не спросишь, но я надеялась, что окольными путями, может быть, что-то и удастся выяснить…

Увы, ничего из этого мне так не довелось спросить. Неожиданные сложности на работе не позволили мне к ней зайти, а потом стало поздно – в начале марта 1966 года Анна Ахматова скончалась. Мои вопросы так и остались без ответа. Может, это и к лучшему – меньше искушения считать себя во всем правой, психиатр должен всегда хоть немного, но сомневаться.

Ну а слава ее не умерла, даже наоборот, как сама Ахматова и предрекала, после ее смерти пышным цветом расцвели статьи о ней и о ее поэзии, издавались и переиздавались ее стихи, потом проза, а потом и черновики. Не говоря уж о том, что в творческой среде ее хвалили, ругали, ею восхищались и ее ненавидели. И все это одновременно. А я смотрела на все это и вспоминала ее королевскую осанку и плавно льющуюся речь. Думаю, несмотря

ни на что, ей бы это понравилось – она все же сумела сделать из себя великий миф, который еще долго будут помнить и обсуждать.

Как-то раз, услышав об очередном «скандальном разоблачении» Ахматовой, которые в богемных кругах случались то и дело, но широкой публике, конечно, были неизвестны, потому что в печать такие «разоблачения» не пропускали, Андрей меня спросил:

– А что ты об этом думаешь?

– О чем? – удивилась я.

– О том, что вся биография Ахматовой – это миф, выдуманный ею самой.

– Думаю, так и есть. Почти все, что Ахматова рассказывала мне, тоже было частью мифа. Точнее, то, как она подавала события своей биографии.

– Значит, ты считаешь, что она не была великим поэтом?

Мне вспомнились пожелтевшая пачка писем, мои стенографические записи, статья Жданова, многочисленные очерки о жизни и творчестве Ахматовой. Нет, все это не то…

– Я считаю, что она сделала все, чтобы остаться в памяти народной как великий поэт. А была ли она великим поэтом на самом деле – это каждый может и сам для себя решить. Для этого не нужны никакие «разоблачения», и мои воспоминания тоже не нужны. Есть способ гораздо проще.

Я взяла с полки книгу стихов Ахматовой, раскрыла его и прочитала первое, что попалось на глаза:

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.
У меня сегодня много дела:

Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить…